Борис Никольский

Пароль XX века

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Новая книга документальных и фантастических рассказов ленинградского писателя посвящена актуальной проблеме современности — сохранению мира на нашей планете.

- Борис Никольский
  - Пароль XX века
  - Утренняя прогулка по Вашингтону, или Размышления на Арлингтонском кладбище
  - Что я видел во Вьетнаме
  - «Прошу вас, не оборачивайтесь…»
  - Звук сирены над мирным городом
  - Гость из Джорджии
  - Три альбома
  - Наше слово гордое «товарищ»
  - «Спасибо вам, родные…»
  - Что мы защищаем?
  - Как возникают фантастические сюжеты
  -
  -
  -
  -
  -
  - Вместо послесловия
- notes
  - 1

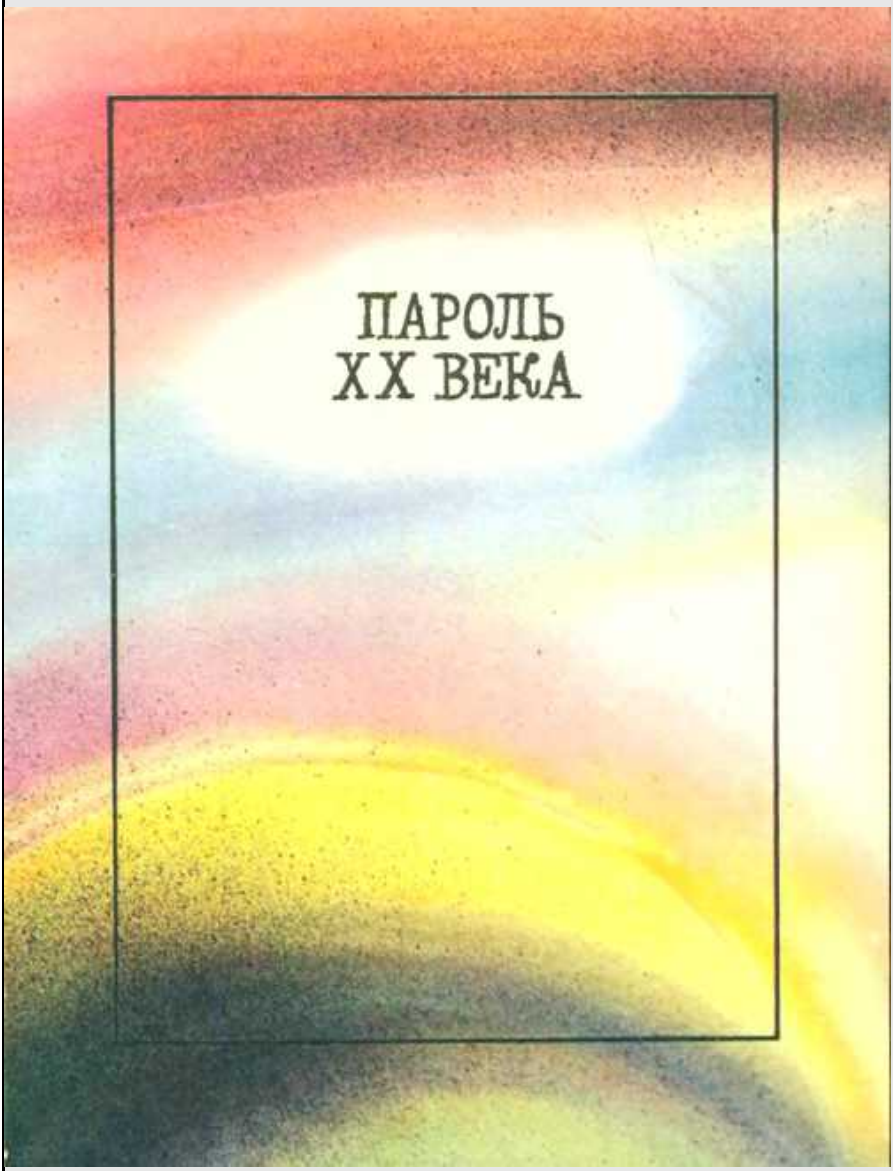
Борис Никольский
ПАРОЛЬ XX ВЕКА
Рассказы

Борис Никольский

Пароль XX века

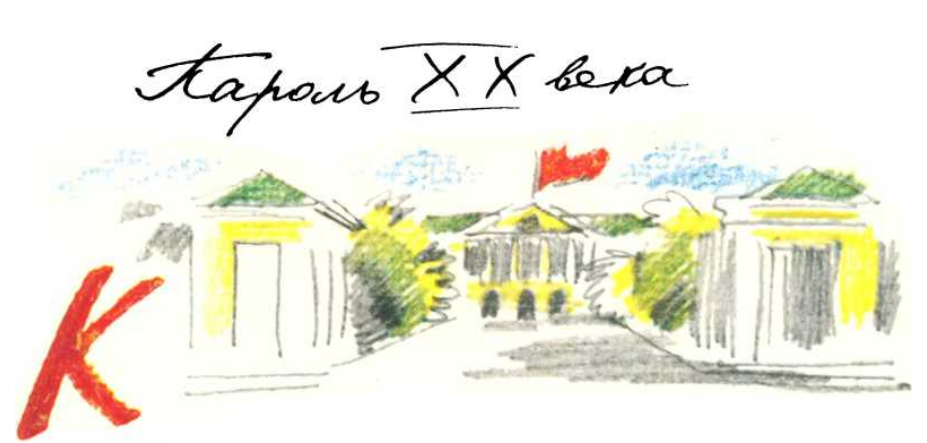
РАССКАЗЫ

Ленинград «Детская литература» 1987



ПАРОЛЬ XX ВЕКА

Пароль XX века



Каждое время, каждый век имеет свои пароль и свои отзыв, свою главную примету, свое главное слово. Паролем XX века, главным его словом стало слово МИР.

Мы медленно поднимаемся по широким ступеням Смольного, проходим сквозь вращающиеся двери, ступаем на парадную лестницу. Мы — это участники Всесоюзной писательской конференции «Ради жизни на земле». Сюда, в Ленинград, в Смольный, приехали писатели из разных городов и республик нашей страны, из многих стран нашей планеты. Приехали, чтобы сказать, что настоящие писатели, все честные литераторы всегда были, есть и будут в первых рядах борцов за мир.

Поднявшись на второй этаж, мы проходим по длинному коридору и наконец останавливаемся на пороге Актового зала Смольного.

«Это здесь? Это тот самый зал?» — слышу я, спрашивает кто-то из зарубежных гостей. И в голосе этого человека звучит волнение. Да я и сам волнуюсь. Мне и раньше случалось бывать в этом торжественном зале, но всякий раз, переступая его порог, я не могу сдержать волнение.

Да, именно здесь, в этом зале, великий Ленин провозгласил победу первой в истории человечества социалистической революции. Именно здесь, в этом зале, прозвучал один из самых первых декретов Советской власти — Декрет о мире. Впервые в истории человечества забота о мире, борьба против войны становилась одной из главнейших забот государства, становилась государственной политикой. «Мир без войн, без оружия — идеал социализма» — слова эти, записанные ныне в Программе

Коммунистической партии Советского Союза, принятой XXVII съездом КПСС, берут свои истоки именно там, в октябрьских днях 1917 года. Нужна была ленинская гениальная прозорливость, чтобы сквозь канонадный грохот первой империалистической, в очистительном гуле революции — точно уловить, осознать то главное, чем будет жить весь XX век, услышать то основное, ведущее слово, которому суждено теперь стать реальной целью, и мечтой, и клятвой, и надеждой народов, — слово «мир».

В тот день, сидя в Актовом зале Смольного, слушая взволнованные, страстные выступления писателей, я ощущал глубокую гордость за нашу Советскую страну. Я ощущал эту гордость, потому что знал: нет сегодня такой международной конференции, такого международного совещания, посвященного разоружению, сокращению вооружений, в котором бы не принимал самого энергичного участия Советский Союз, нет таких усилий, направленных на укрепление мира, которых не поддерживал бы Советский Союз.

Мир нужен всем людям, всем народам, всему человечеству. Ненависть к войне стала нынче реальной и могучей силой. Как бы ни пытались проповедники политики силы приукрасить истинное лицо войны, ее звериный оскал жесток и отвратителен.

Однажды я вместе с делегацией ленинградских писателей побывал в Дрездене — городе-побратиме Ленинграда. Дрезден — город особой, трагической судьбы. Эхо войны, кажется, до сих пор еще бьется о стены разрушенных, выгоревших дотла домов, до сих пор еще носится над кладбищем, где в братских могилах лежат более тридцати тысяч жителей, погибших под бомбами февральской ночью сорок пятого года. В ту ночь американская и английская авиация обрушила на город бомбовый удар невиданной силы. За несколько часов Дрезден был превращен в пылающую груду развалин. А ведь с военной точки зрения налет этот не имел никакого смысла, и жертвами его стали главным образом мирные жители.

(Замечу в скобках, что в наше время на Западе находились такие политики и военные теоретики, которые не без упоения рассуждали о том, что будь сброшена на Дрезден нейтронная бомба — и старинный город остался бы цел, полностью сохранился бы для потомков. Правда, он превратился бы в город мертвецов, смерть настигла бы всех его жителей, но здания-то остались бы целехоньки! По логике современных человеконенавистников лучшего и придумать нельзя!)

Сегодня Дрезден напоминает всему миру о том ужасе, который несет человечеству война. Однако история Дрездена — это не только история жертв и потерь. История Дрездена — это

еще и история революционной борьбы рабочего класса. Именно здесь, в Дрездене, 9 ноября 1918 года был создан Совет рабочих и солдатских депутатов, и над городом взвилось красное знамя; это еще и история антифашистского Сопротивления, история небывалого мужества и стойкости. Так что вовсе не случайно именно Дрезден, прекрасный, заново возрожденный, восставший из руин и пепла город, стал побратимом Ленинграда. Побратим. Мне очень нравится это слово. В нем слышится вера в возможность всеобщего человеческого братства.

Утром, сидя в номере отличной современной гостиницы, поднявшейся ввысь рядом с дрезденским вокзалом, я изучал подробный план города, отыскивая на нем нужную мне улицу. Все улицы и площади Дрездена, все его знаменитые музеи и памятники, мосты и парки словно на ладони лежали передо мной.

Я смотрел на расстеленный на столе план города, и вдруг неожиданно меня поразила, словно бы обожгла, одна мысль, одно внезапное ощущение. Я вдруг представил себе, как те, кто обдумывал и планировал — не без далеко идущих своекорыстных целей — уничтожение Дрездена, тоже всматривались в лежащий перед ними план города. Только и музеи, и парки, и дома, и мосты были для них тогда не музеями и парками, не домами и мостами, не творениями рук человеческих, а лишь объектами для бомбометания. Я подумал, что, наверно, столь же старательно и хладнокровно всматривались в разложенный перед ними план Хиросимы американские генералы августовским днем сорок пятого года. И гитлеровские летчики в сорок первом с той же жестокой пристальностью склонялись над планом Ленинграда, и над планом Москвы, и над планом Харькова или Минска…

И нынче, к сожалению, находятся за океаном люди — и среди генералов, и среди высокопоставленных политиков, — кому, видно, куда больше нравится смотреть на планы городов не доброжелательными глазами туристов, гостей, посланцев доброй воли, а глазами военных летчиков, определяющих цели для бомбометания. Я написал «находятся люди». Только люди ли? Достойны ли подобные существа, хладнокровно рассуждающие о возможности и допустимости ядерной войны, называться людьми?..

Как-то в нашей печати промелькнуло сообщение о документальном фильме, который был снят и показан одной из американских телекомпаний. Фильм этот был посвящен так называемому корпусу быстрого реагирования или быстрого развертывания, созданному в Соединенных Штатах. Командующий этим корпусом в беседе с телекомментатором

заявил следующее: «Ближний Восток так Ближний Восток, мне все равно. Поставьте мне задачу, покажите на карте объект, и я не задумываясь вылечу туда с моими ребятами».

Вот так вот: *не задумываясь*…

Больше всего меня поразили эти слова. Откуда такой откровенный цинизм, откуда такая готовность стрелять и убивать не задумываясь? И верно ведь: если задуматься, можно вспомнить и Хиросиму, и Вьетнам, не принесший Америке ничего, кроме позора и солдатских могил, и многое другое — так что действительно лучше так: не задумываясь!

Я вчитываюсь в эти слова, и перед моими глазами невольно встает одна, казалось бы, не очень значительная сценка, виденная мною во время поездки по Соединенным Штатам на одной из улиц Нового Орлеана.

Как-то вечером, возвращаясь в отель, я остановился перед распахнутыми настежь дверями зала игральных автоматов. Мое внимание привлек худенький подросток, лихо опоясанный широким ковбойским ремнем, на котором была укреплена кобура с тяжелым кольтом. Рука подростка лежала на кобуре, сам он напряженно и неотрывно всматривался в небольшой киноэкран. По белому полотну экрана стремительно мчался всадник на лошади. Вот он на полном скаку вскинул винтовку, прицелился… И в ту же секунду подросток выхватил свой кольт из кобуры и нажал спусковой крючок. Всадник рухнул, испуганная лошадь поволокла его безжизненное тело по земле…

Таковы, оказывается, законы этой игры, ее главный смысл: кто — кого. Опущена в автомат еще одна монета, и снова на экране появляется человек с винтовкой, отчетливо видно его лицо, его напряженные глаза, только теперь он уже не на лошади — теперь он крадется по крыше дома, прячется за трубой, целясь в играющего… Кто — кого? Кто первый успеет спустить курок? Еще мгновение, и мертвое тело, беспомощно кувыркаясь, полетит вниз с крыши. А подросток, еще не успевший остыть от азарта смертельного поединка, с горделивым торжеством не спеша засунет кольт в кобуру…

Потом меня убеждали: не надо придавать слишком большого значения подобным мальчишеским забавам, подобным игровым трюкам. Да и что, мол, такой трюк, по сравнению с тем мутным половодьем фильмов, книг, комиксов, прославляющих убийства, насилие, жестокость, которое захлестывает Соединенные Штаты? Мол, этот автомат, этот кинотрюк, позволяющий бессчетное число раз репетировать поединок, репетировать убийство своего соперника, лишь вырабатывает у человека быструю реакцию, только и всего…

Быструю реакцию?.. Может быть, может быть… «Но случайно ли, — думаю я сейчас, — так близки, так похожи и по своему звучанию, и по своему смыслу оказались эти два словосочетания: „быстрая реакция“ и „быстрое реагирование“? И не отсюда ли, не от этих ли невинных забав тянутся нити к бездумной и такой страшной в своей бездумности готовности целиться, стрелять, убивать — кого угодно и где угодно, был бы отдан приказ, были бы уплачены деньги. Такие люди, разумеется, идеальный материал, с точки зрения тех, кто вынашивает планы военного вмешательства в дела других стран, кто торгует оружием, кого страшит сама идея мирного сосуществования различных стран и народов».

Однако бог с ним, с этим подростком из Нового Орлеана. Очень возможно, из него вырастет вполне приличный, разумный человек. Во всяком случае, его мальчишеский азарт перед экраном игрового автомата можно понять. Но вот когда подобные ковбойские ухватки оказываются присущи взрослым людям — тем, от чьих действий зависит уже не исход кинотрюка, экранного поединка, а судьбы миллионов и миллионов, тут уж становится не по себе. К счастью, на земле в наше время все больше и больше людей, понимающих опасность подобных ковбойских игр с ядерными бомбами и крылатыми ракетами вместо кольта, все меньше и меньше тех, кто готов жить не задумываясь. Голос разума и совести звучит над нашей планетой все увереннее, все сильнее. И голос памяти.

Да, голос памяти — это тоже наша сила и наше оружие в борьбе за мир.

О том, что несет народам война, неустанно, изо дня в день напоминают колокола Хатыни и пепел Хиросимы.

Хиросима… Я был в Японии. Но попасть в Хиросиму мне не удалось. Дважды японский самолет, на котором мы, туристы, летели в Хиросиму, поднимался в воздух, приближался к городу, делал круги над ним и дважды возвращался назад, на аэродром, в Осаку.

Аэропорт Хиросимы не принимал. Хиросима лежала где-то далеко внизу, невидимая, плотно окутанная низкими, тревожно клубящимися облаками. И невольно начинало казаться, будто этот город навсегда запомнил тот страшный день, когда над ним появился американский бомбардировщик с атомной бомбой на борту, и теперь таился от самолетов, страшился приближающегося, нарастающего самолетного гула и прятался, замирал, невидимый, там, внизу.

Я так и не увидел Хиросиму, так и не побывал в этом городе, но это ощущение — ощущение тревожно затаившегося, словно бы

навечно укрывшегося облаками города — я увез с собой. Оно не забывается.

И так случилось, что вскоре после возвращения из Японии моя работа привела меня в один из самых молодых городов Ленинградской области — Сосновый Бор. Здесь выстроена и дает ток Ленинградская атомная электростанция.

Я осматривал огромные сооружения атомной электростанции, бродил по чистым, словно бы промытым свежим морским воздухом кварталам нового города, по-мальчишески зачарованно любовался сказочным детским городком — «Андерсеноградом», долго стоял на берегу прозрачного залива…

Особое чувство испытывал я в тот день. Нет, даже не грандиозность электростанции, не небывалая еще мощность атомных энергоблоков поразили меня тогда. Меня поразило соседство могучих атомных реакторов и детского сказочного городка, этих веселых, полувзаправдашних-полуигрушечных крепостных стен и башен. Эти крепостные стены и башни поднялись среди сосен и были возведены с такой любовью, с такой фантазией, что невольно чудилось: здесь не обошлось без добрых волшебников, без их заботливых рук.

В этом соседстве укрощенной, приученной, призванной верно и послушно служить человеку грозной силы — атомной энергии и счастливого детского смеха, радостной, самозабвенной ребячьей игры было нечто жизнеутверждающее: я как бы воочию увидел торжество разума, добра и света над силами зла и жестокого, алчного безумия. Словно здесь, в Сосновом Бору, мне открылась картина того мирного будущего нашей планеты, в которое верит, к которому призывает наша страна.

Эти строки я писал еще до того, как произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. И теперь, заново перечитывая их, я задумался: а прав ли я был в тех, прежних, своих ощущениях? Не ошибался ли? Не слишком ли оптимистично был настроен?

Я думал обо всем этом и отвечал сам себе: все-таки не ошибался. Трагические события на Чернобыльской АЭС научили нас многому. Они еще раз сурово напомнили о том, какой дорогой ценой в наше время приходится платить за беспечность и расхлябанность. Но все же они не поколебали нас в главном, они не поколебали нашей веры в силу человеческого разума. Они, эти события, еще раз напомнили о том, как велика сегодня ответственность ученых перед человечеством и как важно, чтобы усилия их объединились в одном стремлении — стремлении служить людям.

То, что произошло на Чернобыльской АЭС, — это ничтожная

капля в море, по сравнению с тем океаном разрушений, смертей и бедствий, которые несет людям атомная война. Это с особой остротой поняли, почувствовали все те, кому дорог мир. Словно бы грозное предупреждение прозвучало над всей землей: ядерное оружие должно быть уничтожено. Нельзя допустить всемирной ядерной катастрофы. Таков главный урок событий на Чернобыльской атомной.

Как-то девочка, третьеклассница, моя читательница, прислала мне письмо, где были такие слова: «У меня есть много главных желаний, но среди них самое-самое главное — чтобы никогда не было войны, чтобы всегда был мир».

Да, верно. У каждого из нас наверняка есть немало желаний, планов и надежд, но вместе с тем есть и одно — главное, присущее нам всем: пусть никогда не будет войны! Пусть приходящий на смену нашему веку век двадцать первый станет веком без войн, без оружия!

И это не пассивная жажда мира, не только наше желание и надежда — это, прежде всего, упорный и настойчивый труд во имя мира, упорная и постоянная борьба за мир. Потому что мы живем в такой стране, где борьба за мир, работа во имя мира — это и личное, кровное дело каждого человека, и государственная политика, определенная Программой нашей ленинской партии.

Утренняя прогулка по Вашингтону, или Размышления на Арлингтонском кладбище

Время идет, и тот день, о котором я собираюсь рассказать, все более и более отдаляется, уходит в прошлое, но тем не менее продолжает жить в моей памяти. Да и события, происходящие в нынешнем, сегодняшнем мире, не дают забыть впечатления того дня, заставляют вновь и вновь обращаться к ним.

Так случилось, что в тот день, один из последних дней нашего пребывания в Вашингтоне, я опоздал на туристский автобус. После завтрака я поднялся к себе в номер перезарядить магнитофонную пленку, а когда снова спустился в холл отеля, увидел, что никого из моих товарищей по туристской группе уже нет. Я выскочил на улицу, но и здесь, у подъезда отеля, никого не было. Не было и нашего автобуса с маленькой табличкой за лобовым стеклом, удостоверявшей, что в нем путешествуют «soviet writers» — советские писатели.

В растерянности и досаде топтался я возле отеля, все еще надеясь, что, может быть, мои друзья заметят мое отсутствие, спохватятся и вернутся. Однако автобус не возвращался. И мне оставалось только всячески ругать себя за то, что я связался с магнитофонной пленкой. Зачем, спрашивается, мне во что бы то ни стало понадобился магнитофон? Что я собирался записывать?

Моя досада была вполне понятна, потому что я знал, что в этот день нашей группе предстояло побывать в Капитолии, в мемориале Линкольна и на Арлингтонском кладбище, где похоронен президент Джон Кеннеди, — одним словом, осмотреть самые главные достопримечательности Вашингтона. Нет, смириться с тем, что я уеду из американской столицы, не увидев

мемориала Линкольна, не побывав на могиле Джона Кеннеди, я не мог.

Не теряя времени, я решил действовать. Со своим знанием английского, со своим произношением я не особенно рассчитывал на то, что сумею добраться до цели на обычном городском автобусе. К тому же я давно уже, еще со времен свой журналистской работы, усвоил: чтобы хоть немного почувствовать, узнать незнакомый город, самое лучшее — это померить его улицы собственными ногами. План Вашингтона, причем достаточно подробный, у меня был. Я мысленно прикинул по нему свой путь: главное — выбраться на Двадцать вторую стрит, а там уже шагай себе прямо, никуда не сворачивая. Не так уж, оказывается, и сложно. Правда, судя по плану, мне предстояло пересечь с севера на юг едва ли не половину города, но спешить теперь было особенно некуда, и я уверенно двинулся в дорогу.

Стояло ясное осеннее утро, мягко пригревало солнце, улицы, по которым я шел, были по-утреннему чисты, тихи и пустынны. После Нью-Йорка, с его небоскребами и трущобами Бауэри-стрит, после бесконечных автомагистралей Лос-Анджелеса, после гордящегося своими сверхсовременными, фешенебельными отелями Сан-Франциско Вашингтон казался уютным и тихим. Здесь не надо было задирать голову, чтобы увидеть полоску неба: оно просвечивало мягкой голубизной, солнечными бликами сквозь пожелтевшие листья деревьев.

И чем дольше я шел по этим улицам, тем сильнее охватывало меня ощущение покоя и умиротворенности. Есть в ранней осени, с ее прозрачностью, с багрянцем опадающих листьев, с ее светлой задумчивостью, нечто такое, что вызывает в душе особое состояние, когда радость мешается с легкой печалью и весь мир, вся земля, все люди вдруг начинают казаться такими близкими, такими бесконечно дорогими тебе. Это состояние я не раз испытывал у себя на родине, в России, именно ранней осенью, а теперь неожиданно оно явилось ко мне здесь, в чужом, незнакомом городе, за тысячи и тысячи километров от дома.

Пожилой полный мужчина в комбинезоне сметал со ступеней, ведущих в особняк, опавшие красно-желтые листья. Услышав мои шаги, он выпрямился и взглянул на меня. У него было загорелое приветливое лицо. Он улыбнулся мне одними глазами — или, может быть, это только показалось мне? — и я пошел дальше, унося с собой эту улыбку.

Как легко, как славно шагалось мне в то утро!

И когда я вышел наконец к парку Конституции, к мемориалу Линкольна, я вовсе не ощущал усталости. По-прежнему светило

солнце, и небо было все таким же ясным, голубым, оно отражалось в торжественной водной глади, идеально ровным прямоугольником протянувшейся перед мемориалом Линкольна. Среди аккуратно подстриженных газонов двое ярко одетых ребятишек с самозабвенной веселостью играли в мяч. Тут же на траве, подстелив газету, спал старый негр. И даже вид этого, по всей вероятности бездомного, человека не смутил, не нарушил того ощущения безмятежности и покоя, которое владело мной. Казалось, и этому старому негру хорошо спится сейчас здесь, под лучами осеннего солнца…

И от знаменитой белоснежной статуи Авраама Линкольна веяло величавым, даже чуть суровым спокойствием. Этот человек исполнил главное дело своей жизни: он провозгласил освобождение рабов и вошел в историю Соединенных Штатов как Друг Народа. Плантаторы, расисты, реакционеры не простили ему этого. В 1865 году Линкольн был сражен пулей убийцы.

В молчании я постоял перед великим американцем и пошел дальше — к мосту, ведущему через Потомак к Арлингтонскому кладбищу. Мимо меня со стремительным шорохом пробегали редкие туристские автобусы, сверкнув, проносились легковые автомашины. Пешеходов на мосту не было. Я шагал в полном одиночестве, и это тоже казалось удивительным, словно в странном сне или фантастическом фильме: огромное пространство моста и только один-единственный человек, шагающий по нему. Едва ли не в самом центре столицы я оказался вдруг один на один с небом, водой и солнцем. Как будто кто-то нарочно заботился о том, чтобы ничто не мешало мне предаваться собственным раздумьям, чтобы ничто не разрушило того настроения, которое не оставляло меня все это утро…

Мост кончился. Я подходил к Арлингтонскому кладбищу.

Здесь уже было людно. Оживленно переговариваясь, выбирались из автобусов иностранные туристы, шумно целыми семьями шли американцы, приехавшие, видно, из других штатов. И все они наверняка устремлялись туда же, куда направлялся и я: к могиле Джона Кеннеди. Это имя витало в воздухе.

Я свернул на боковую, пустынную аллею. Остались в стороне и постепенно затихли голоса туристов. Теперь вокруг царила тишина, такая глубокая и безмятежная, что даже шорох листьев под моими ногами не мог нарушить ее. И в этой тишине здесь, на кладбище, невольно думалось о смысле человеческой жизни, о смерти и бессмертии, о невидимых нитях, которые связывают тех, кто жил до нас, с нами, сегодняшними, и с теми, кому суждено прийти после нас…

Какой-то негромкий звук, слабое шуршание отвлекло меня от этих мыслей. Впереди, среди деревьев, я увидел одинокую фигуру: седая худенькая женщина, склонившись к аккуратному надгробию с невысоким белым столбиком, то ли украшала его цветами, то ли убирала высохшие листья. Она была так сосредоточена, так погружена в свои заботы, что не замечала меня.

Такие же чистенькие надгробия, такие же аккуратные белые столбики возвышались по обеим сторонам аллеи, терялись в глубине, среди деревьев. Я наклонился к одному из этих

столбиков и на табличке разобрал надпись: имя, фамилия, дата рождения, дата смерти. Всего двадцать два года уместились между двумя этими датами. И чуть пониже — строчка: убит во Вьетнаме. Я шагнул к соседнему надгробию и снова прочел: убит во Вьетнаме. Взглянул еще на один столбик — и опять: убит во Вьетнаме. И еще. И еще. Убит во Вьетнаме… Убит во Вьетнаме…

Так вот кто покоился здесь.

Здесь, под этими одинаковыми надгробиями, лежали американские солдаты, бесславно погибшие на земле Вьетнама. Тут лежали те, кому внушили, будто они призваны защитить цивилизацию от «коммунистической угрозы». Защитить с помощью бомб, напалма и отравляющих веществ. Защитить, убивая детей и женщин.

И сразу, мгновенно рухнула, исчезла, рассеялась иллюзия покоя и безмятежности. Какой там покой, какая умиротворенность! Запахом войны и тлена пахнуло вдруг на меня.

За что, во имя чего отдали жизнь эти парни? Что, кроме огня, насилия, страдания и смерти, принесли они на вьетнамскую землю?

Говорят: «Мертвые сраму не имут». Да, мертвые не ведают вины, не знают позора. Но живые, живые-то должны знать! Должны помнить!

Вокруг по-прежнему стояла глубокая тишина и желтые листья все так же задумчиво и бесшумно опускались на землю, но меня вдруг потянуло быстрее уйти, выбраться отсюда, из этого лабиринта ровных белых столбиков, неотличимых друг от друга надгробий. Однако я продолжал стоять перед этими столбиками, продолжал вглядываться в них…

А мысленно я видел иные могилы, иное кладбище. То кладбище открыто всем океанским ветрам, оно раскинулось высоко над городом, на сопке. Там, на Морском кладбище во Владивостоке, спят вечным сном советские моряки Николай Рыбачук и Юрий Зотов. Два этих человека, наверно, даже не знали друг друга и в море выходили на разных судах, но теперь здесь лежат почти рядом, ибо разделили одну и ту же судьбу. Красные пирамидки со звездочками поднялись над их могилами с надписью: «Убит во время бомбежки теплохода американскими агрессорами в порту Камфа». Не щадя своей жизни, эти люди спешили на помощь истекавшему кровью вьетнамскому народу, героически отражавшему натиск жестокого и сильного врага.

Да, могилы могилам рознь. Одни молчаливо свидетельствуют о позоре и бесчестии, другие хранят память о мужестве, самоотверженности и человеческом благородстве.

Вот о чем думал я в те минуты, стоя на пустынной аллее Арлингтонского кладбища.

Мимо меня неслышно, словно бы невесомо, прошла седая женщина — та самая, которую я только что видел возле одной из могил. К кому приходила она, о ком вспоминала, о ком плакала?.. О муже? О брате? О сыне?..

…Могилу Джона Кеннеди я нашел без особого труда: к ней и правда стекались люди с разных сторон. Щелкали затворами фотоаппаратов туристы, вели свою отшлифованную скороговорку гиды. Маленький мальчишка, привычно перекатывая во рту жевательную резинку, по складам разбирал строки, выбитые на каменной полированной плите. Это были слова, произнесенные Джоном Кеннеди в одной из его речей. Я не ручаюсь за дословную точность перевода, но смысл их сразу запал мне в душу, остался в памяти:

«Не спрашивай у Америки, что она сделала для тебя, спроси себя: что ты сделал для Америки? Не спрашивай у мира, что он сделал для тебя, спроси себя: что ты сделал для мира?»

Хорошие, справедливые слова. Потом я не раз мысленно повторял их, вслушиваясь в их звучание. Они звучали торжественно, как стихи. Что ж, американским президентам нельзя отказать в умении произносить речи. Если бы только их дела не расходились с речами. Если бы только те, кому сегодня принадлежит власть в Вашингтоне, действительно следовали бы словам, выбитым на могиле Кеннеди, если бы…

Джон Кеннеди знал, что такое война, в годы борьбы с фашизмом он был храбрым офицером. Может быть, именно поэтому многие люди в нашей стране с искренней симпатией относились к этому человеку. Я помню, как были мы потрясены известием о покушении на него, известием о его смерти.

Мир до сих пор не получил ответа, кто же был истинным убийцей президента. Тайна убийства Джона Кеннеди, тайна заговора до сих пор не раскрыта. По одной из версий, нити заговора тянутся к кубинским контрреволюционерам и их американским покровителям, к мафии, к самым оголтело реакционным кругам страны. По этой версии, Джон Кеннеди заплатил собственной жизнью за то, что недостаточно решительно поддержал тех, кто стремился силой задушить кубинскую революцию, свергнуть народное правительство на острове Свободы. Впрочем, повторяю, это лишь одна из версий. Всякий раз, едва только предпринималась попытка серьезного расследования, гибли свидетели, внезапно умирали или исчезали люди, хоть что-то знавшие о том, как готовилось покушение на президента. Брат покойного, сенатор Роберт Кеннеди,

баллотируясь в президенты, заявил однажды, что если он займет президентское кресло, то непременно даст указание докопаться до истины, начать новое следствие. Роберт Кеннеди не смог сдержать своего обещания. Он обрел последнее пристанище здесь же на Арлингтонском кладбище, неподалеку от брата, так же как и он, сраженный пулей убийцы. И в тот день, о котором я рассказываю, я видел свежие цветы и на его могиле…

Кровь, жестокость, насилие… Мемориал Линкольна, могила Кеннеди…

«Да что же эта за страна такая, — думал я, — которая с такой легкостью позволяет убивать своих президентов, а потом воздает им почести? Да что же это за страна такая, которая с такой готовностью посылает своих сыновей сражаться и проливать кровь за продажных диктаторов, чтобы потом они, ее сыновья, возвращались сюда, на Арлингтонское кладбище, под звуки гимна, прославляющего Америку, в гробах, укрытых звездно-полосатым флагом? Что это за страна такая…»

Я оглянулся на тех, кто стоял сейчас рядом со мной, и, показалось мне, не увидел на их лицах ничего, кроме торопливого туристского любопытства. По-прежнему щелкали фотоаппараты…

Я повернулся и пошел прочь, к выходу, назад к Арлингтонскому мосту, протянувшемуся через Потомак. Справа вдали серой громадиной виднелось здание Пентагона. Теперь уже в душе моей не оставалось и следа того настроения, которое я испытал утром. Одиночество уже не радовало, а давило. Возникало гнетущее ощущение собственной затерянности. Уже без воодушевления я думал о том пути, который мне еще предстояло проделать.

Я подошел к одному из передвижных лотков, чтобы купить «хэт дог», или, говоря по-русски, горячую сосиску с булкой. И в этот момент кто-то весело окликнул меня. Я обернулся: автобус с табличкой «soviet writers» был тут как тут! Какой желанной и радостной показалась мне эта встреча! Словно и правда после долгой разлуки, после длительного путешествия вернулся я к родным берегам!

По всем законам жанра тут бы, пожалуй, и следовало поставить точку. Однако жизнь диктует свои сюжеты — события того дня еще не закончились.

Оказывается, нас уже ждали в обществе имени Поля Робсона — в обществе друзей нашей страны. Когда мы приехали туда, зал, спускавшийся амфитеатром к небольшой сцене, был уже заполнен. Здесь собрались и чернокожие граждане Соединенных Штатов Америки, и белые, и выходцы из Латинской Америки;

некоторые пришли на встречу с нами целыми семьями, с детьми — молодые и старые, мужчины и женщины. Никогда не забуду той атмосферы глубокого расположения и интереса к нашей стране, чистосердечности и товарищества, которая царила в этом зале! Как чутко и горячо отзывался зал на каждое слово моих товарищей — писателей из Москвы и Ленинграда! Так могут аплодировать лишь те, у кого крепкие рабочие руки и отзывчивые сердца. А с каким затаенным вниманием слушали собравшиеся рассказ ленинградской писательницы Елены Вечтомовой о женщинах блокадного города, как оживленно реагировали на стихи, посвященные Полю Робсону, прочитанные советским поэтом Джемсом Паттерсоном:

Ваш звучный голос полноты безбрежной
Способен людям западать в сердца.
То он суровый, то такой же нежный,
Каким был голос моего отца.

Да, отец Джемса Паттерсона был американским негром. В 1932 году он приехал в Советский Союз и навсегда остался в нашей стране, принял советское гражданство. Во время Великой Отечественной войны он погиб. И теперь, на вашингтонской встрече, в зале нашлись то ли дальние родственники, то ли знакомые дальних родственников Паттерсона. Были объятия, радостные возгласы, растроганные улыбки…

Ораторы сменяли друг друга, страстно, взволнованно, темпераментно они говорили о силе дружбы, о ненависти к войне, о стремлении к миру. Звучала английская и русская речь, песни протеста и строки стихов разносились над залом. Гневом наливались голоса тех, кто протестовал против нейтронной бомбы, против военных приготовлений, затеваемых современными варварами, против ядерной стратегии вашингтонских политиков.

Встреча была в самом разгаре, когда вдруг на сцене рядом с очередным оратором появился крошечный чернокожий мальчонка. Видно, ему надоело томиться на коленях у матери, и он, отважно прошествовав по залу, взобрался на сцену, привлеченный сверканием никелированной штанги, на которой крепился микрофон. С радостной доверчивостью он потянулся ручонками к микрофону, и зал ответил ему веселым одобрением, аплодисментами и приветственными, подбадривающими возгласами. Кого напоминал мне этот малыш? Ну конечно же, он был похож на запомнившегося всем нам негритенка из кинофильма «Цирк», которого более сорока лет тому назад так

блестяще «сыграл» не кто иной, как маленький Джемс Паттерсон.

Кто-то подхватил мальчонку на руки, обнял, прижал к себе…

И каким символичным, исполненным глубокого смысла показалось мне тогда это нечаянное появление ребенка на сцене, на той самой сцене, откуда произносились гневные антивоенные речи, звучали энергичные призывы к миру! Словно он поднялся сюда как посланец от всех детей Земли, чтобы обратиться к нам, взрослым, обратиться с надеждой и доверчивостью, с верой в разумное всемогущество взрослых.

Так и остался у меня в памяти этот курчавый чернокожий мальчонка, радостно и открыто, с веселым детским лукавством вглядывающийся в лица взрослых…

Теперь, за годы, что прошли с того дня, он, конечно, уже подрос, стал старше, уже разбирается, о чем говорят взрослые, уже понимает страшный смысл слов «война», «ядерный взрыв», «радиация» и, может быть, вместе с родителями уже принимает участие в многолюдных антивоенных демонстрациях возле Белого дома…

Но об этом я думаю уже теперь, сегодня. А тогда, в тот день, я просто записал на магнитофонную пленку голос этого мальчонки, вплетающийся в голоса взрослых. И он, этот голос, хранится теперь у меня как самая дорогая память. Кстати, записан он на ту самую пленку, перезаряжая которую я опоздал к нашему туристскому автобусу. Так что все-таки магнитофон мне тогда пригодился…

Что я видел во Вьетнаме

не посчастливилось побывать во многих странах мира. Но пожалуй, ни разу, собираясь в поездку, я не волновался так, как волновался, отправляясь во Вьетнам. Слишком много читал и слышал я об этой героической стране, об этом мужественном народе. Слишком долгой и тяжкой была борьба вьетнамцев за свою свободу. И вот теперь мне предстояло самому своими глазами увидеть эту землю. Было отчего волноваться!

«Я ПОМНЮ ТЕБЯ, МАМА!»

Эту историю мне рассказал корреспондент «Комсомольской правды» во Вьетнаме Сергей Щербаков. В тот вечер мы — я и двое моих спутников, московских писателей, — были в Ханое в гостях у очень интересного человека — Михаила Георгиевича Домогацких. Жизнь этого человека, в далеком прошлом беспризорника, затем — во время войны — отважного десантника, награжденного многими боевыми орденами, а ныне журналиста-международника, блестяще владеющего несколькими языками, работавшего в странах Азии и Африки и написавшего ряд увлекательных книг, заслуживает отдельного рассказа.

Но сейчас речь пойдет о другом.

Итак, мы пили чай и разговаривали с Михаилом Георгиевичем, когда к нему заглянул его товарищ по журналистской работе Сергей Щербаков. Лицо Сергея было усталым, и одежда его, казалось, еще хранила дорожную пыль: немалый и нелегкий путь в сотни километров от Дананга до Ханоя по жаре проделал он в этот день на машине, но все-таки

глаза его сейчас светились радостным оживлением. И он не мог сразу же не поделиться с нами своей удачей.

Оказывается, некоторое время тому назад на имя советских журналистов, работающих во Вьетнаме, пришло письмо из Советского Союза, из Харькова, от Маргариты Сергеевны Пыльцыной. «Вот уже много лет, — писала Маргарита Сергеевна, — я ищу вьетнамскую девочку по имени Хо Тхи Тху. Это моя дочь. Где наша девочка, что с ней?»

И дальше Маргарита Сергеевна рассказывала о том, каким образом Хо Тхи Тху стала ее приемной дочерью.

Это было в Артеке пятнадцать лет тому назад. Здесь проходил большой пионерский праздник, на котором в качестве гостьи присутствовала и Маргарита Сергеевна. Среди ребят она увидела трех вьетнамцев — двух мальчиков и одну девочку. Девочке на вид было лет тринадцать-четырнадцать. И вдруг эта девочка бросилась к Маргарите Сергеевне, обняла ее и назвала мамой. Уже потом она призналась, что Маргарита Сергеевна показалась ей очень похожей на ее маму.

Хо Тхи Тху приехала в Артек из Южного Вьетнама, где в то время шли жестокие бои с американскими агрессорами и их приспешниками. Хо Тхи Тху тоже участвовала в сражениях. Еще 10-летней девчонкой она стала разведчицей. Добывала для вьетнамских бойцов американское оружие. Теперь, в свои 14 лет, она уже была награждена за отвагу орденом и двумя медалями.

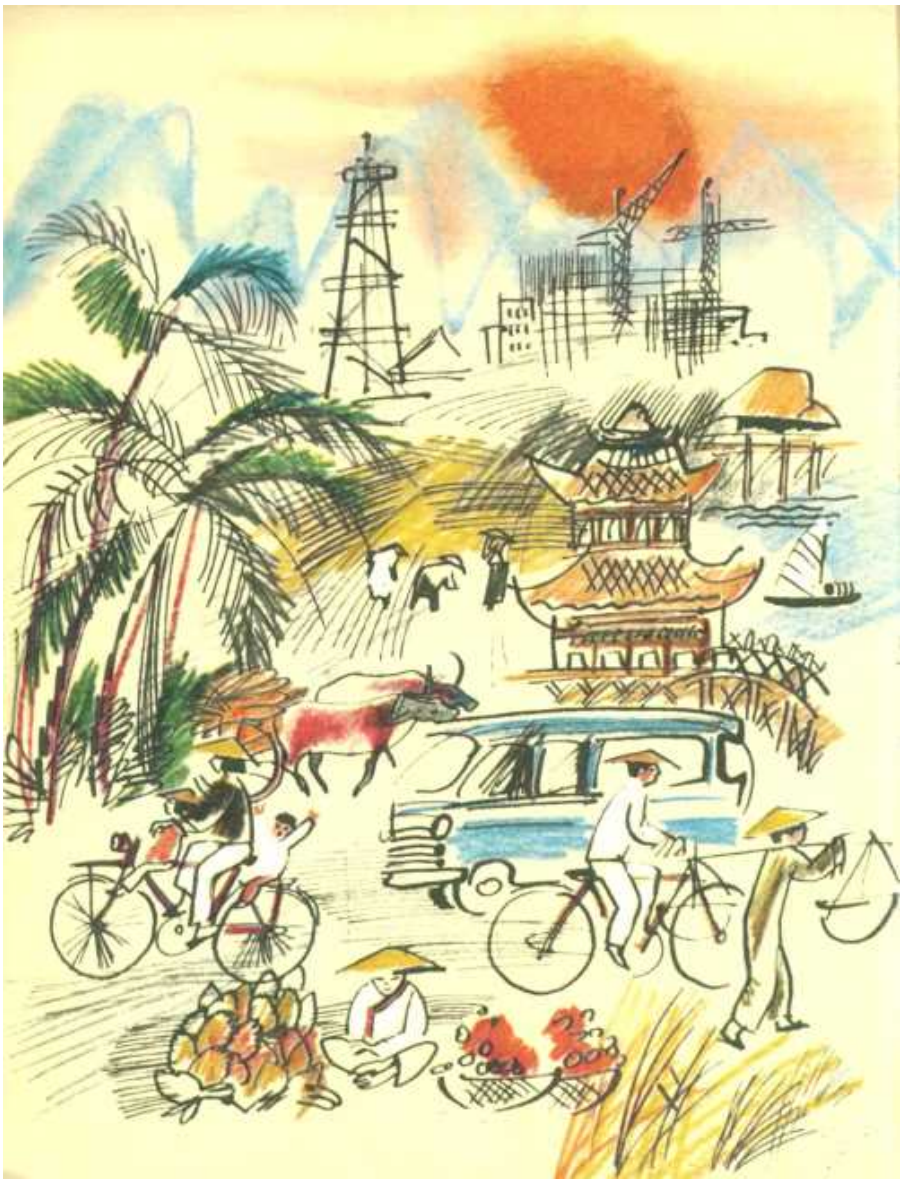
Маргарита Сергеевна и Хо Тхи Тху очень привязались друг к другу. Но наступила пора расставаться. Хо Тхи Тху уехала на родину и словно исчезла. Письма от нее перестали приходить. Однако Маргарита Сергеевна не могла забыть свою приемную дочь. Ей не хотелось верить, что отважная девочка погибла. И когда народ Вьетнама одержал победу и на юге страны установилась народная власть, Маргарита Сергеевна принялась разыскивать Хо Тхи Тху. Долгое время эти поиски были бесплодными. Но вот однажды об этой истории рассказала на своих страницах молодежная вьетнамская газета «Тьен Фонг». И Хо Тхи Тху откликнулась, отыскалась! Выяснилось, что живет она в городе Дананге, окончила медицинское училище, работает в больнице.

Но что же все-таки произошло? Почему не писала она Маргарите Сергеевне? Почему никак не давала о себе знать?

Оказывается, в 1971 году, когда она вернулась из Советского Союза к себе на родину, в одном из боев Хо Тхи Тху была тяжело контужена. Пришла в себя она только в госпитале. В результате контузии она потеряла память, бумажка же, на которой был записан адрес Маргариты Сергеевны, пропала. И все, что

происходило с ней до контузии, Хо Тхи Тху помнила смутно, только ощущение, будто она утратила что-то очень дорогое и важное для себя, все время мучило ее. Так что легко представить себе ее радость, когда в газете она увидела свою старую — еще артековских времен — фотографию и узнала, что Маргарита Сергеевна разыскивает ее!

Теперь Хо Тхи Тху стала уже взрослой, у нее своя семья, двое детей — 8-летний сын Туан и 4-летняя дочка Бик Тху. Но любовь и привязанность к Маргарите Сергеевне, которую когда-то в Артеке она назвала мамой, живут в ее сердце.



АМЕРИКАНСКИЙ СОРНЯК

Мы ехали в маленьком автобусе по дорогам одной из южных провинций Вьетнама. И конечно же, не отрывались от окон машины. Все было интересно! Все хотелось увидеть, рассмотреть, запомнить! И ребятишек, уверенно восседающих на спинах медлительных буйволов, и горки ананасов, аккуратно сложенные на обочине дороги: пожалуйста, останавливайся, выбирай, покупай любой, какой понравится, — и ровные квадраты рисовых полей, залитые водой, и уходящие вдаль бесконечными прямыми рядами каучуковые деревья…

А вот промелькнула за окном волнисто колышущаяся сухая трава, чем-то напоминающая наш степной ковыль. И еще. И еще…

«Американский сорняк», — сказала сопровождавшая нас сотрудница Союза писателей Вьетнама Дао Ким Хоа.

«Ну что ж, американский так американский, — подумал я, — ботаникам, наверное, виднее, как называть эту траву».

Мы проехали еще километр-другой, и снова та же сухая трава заколыхалась перед глазами.

«Американский сорняк», — повторила Хоа. Обычно веселая, смешливая, она выглядела сейчас печальной и серьезной.

И мы узнали, что у этой безобидной на вид травы — своя, в общем-то страшная, история. Во время войны американцы с самолетов специально рассеивали ее. Трава приживалась, быстро шла в рост, потом высыхала на солнце, и тогда американцы или солдаты из армии сайгонских генералов поджигали ее. Сухая трава вспыхивала как порох, и пожар огненной волной катился по земле на многие километры. В огне гибло все живое. Так американцы боролись с партизанами. Они рассчитывали, что партизанам негде будет укрыться.

Вот какой жестокой и страшной была война, которую вели американские агрессоры на земле Вьетнама. Но даже подобная изощренная жестокость не спасла американцев и их марионеток от поражения.

Так что совсем не ботаники, оказывается, назвали эту траву американским сорняком. Это название дал ей вьетнамский народ. С того времени когда здесь, в этих провинциях, полыхали пожары, прошло уже больше десяти лет, а живучий сорняк все еще выбивается из-под земли, тянется кверху, сухо колышется на ветру. И, глядя на него, говорят вьетнамцы: «Американский

сорняк».

Такую вот память оставила о себе здесь цивилизованная страна — Соединенные Штаты Америки…

ГИЛЬОТИНА

В городе Хошимине (бывшем Сайгоне) существует специальный музей, экспонаты которого рассказывают о преступлениях, совершенных американскими агрессорами и их приспешниками на вьетнамской земле.

Мы собирались непременно побывать в этом музее, но так получилось, что немного подзапоздали, и, когда приехали, музей оказался уже закрыт. Однако и те экспонаты, что были выставлены во дворе, возле здания музея, говорили о многом.

И первое, что я здесь увидел, была гильотина. Не макет, не чертеж, не рисунок гильотины, а самая настоящая гильотина, с помощью которой казнили, обезглавливали осужденных. Гильотина уже потемнела от времени, только блестело тяжелое, отточенное лезвие. Гильотина досталась южно-вьетнамским правителям по наследству еще от французских колонизаторов. И те решили, что орудие казни, конечно же, пригодится им в борьбе против собственного народа. Сейчас тут, во дворе музея, возле гильотины висела карта Южного Вьетнама: на ней были помечены города, по которым совершила гильотина свое кровавое путешествие. С помощью гильотины палачи расправлялись с захваченными партизанами, патриотами-подпольщиками, коммунистами.

Я смотрел на гильотину, на ее тяжелый нож с блестящим лезвием, на специальную корзину, куда должна была падать отрубленная голова казненного, на прочие приспособления, и мне, честно говоря, становилось не по себе, легкий озноб пробежал по моей спине. Я отвернулся, торопливо отошел от гильотины и тут увидел нечто на первый взгляд гораздо более безобидное. Это были огромные, окрашенные в защитный цвет контейнеры с какими-то надписями на английском языке. Они казались похожими на раздувшиеся, пузатые бомбы. Впрочем, не нужно было долго ломать голову, чтобы понять, что это такое. С помощью таких контейнеров американцы распыляли над джунглями особые ядовитые вещества. Расчет был прост: листва, обработанная ядохимикатами, опадет с деревьев, растения погибнут и партизаны, до тех пор укрывавшиеся в джунглях, будут обречены. Тогда американцы уверяли весь мир, будто применяемые ими химикаты абсолютно безвредны для людей.

Однако уверения эти оказались ложью.

Тысячи мирных жителей, крестьян получили тяжелые отравления, стали жертвами мучительных болезней, многие из них умерли. До сих пор на юге Вьетнама в тех районах, где применяли американцы ядохимикаты, рождаются дети-калеки. Да и в самих Соединенных Штатах среди ветеранов вьетнамской войны оказалось немало людей, пораженных тяжкими неизлечимыми болезнями, — такова была плата за те варварские опыты, которые проводили американские генералы на вьетнамской земле.

Человечество не забыло и никогда не забудет преступления, совершенные на земле Вьетнама. И именно во имя того, чтобы жила эта память, чтобы никогда больше не совершались в мире подобные злодеяния, и существует необычный музей в центре Хошимина.

ДОМ ЗМЕЙ

Народ Вьетнама хранит память о войне. Но сегодня повсюду, в городах и провинциях, идет мирная жизнь, кипит напряженная созидательная работа. Мы видели, как завершается строительство гигантского моста в Ханое через реку Красную. Мост этот сооружается с помощью советских специалистов. Мы побывали в кооперативах, где шьют рубашки и плетут изящные корзинки и шляпы, бродили среди деревьев-каучуконосов на поистине неоглядных каучуковых плантациях. Видели нефтяные вышки, поднявшиеся над заливом Вунгтау…

«А сегодня, — сказали нам однажды, — мы поедем в Дом змей».

Я думал, нам предстоит посетить нечто вроде обыкновенного террариума в зоопарке или зоологического музея. Но оказалось, Дом змей — это весьма солидное предприятие, целое фармацевтическое производство.

Есть здесь и огромные могучие питоны, но главное, что поражает воображение, — это обилие ядовитых змей. Змеи живут тут в специальных помещениях, в клетках или вольерах. Представьте себе: вы входите в приземистый, вытянутый в длину корпус, бочком осторожно продвигаетесь по довольно-таки узкому проходу, а слева и справа от вас в деревянных зарешеченных клетках шипят, раздуваются, делают смертельные свои стойки ядовитые кобры, очковые змеи и прочие их собратья…

А тут еще идущий вместе с вами высокий чуть бледный от

волнения вьетнамец то и дело предостерегающе взмахивает руками и тревожно вскрикивает: «Осторожно! Не прикасаться! Не прикасаться! Осторожно!»

Впрочем, он сам, этот вьетнамец, здесь гость, приезжий человек, так что его тревога, волнение, его беспокойство за нашу безопасность вполне объяснимы. Сами же хозяева держатся совершенно спокойно и хладнокровно.

Они рассказывают нам, как добывается змеиный яд, какие именно лекарственные препараты изготавливаются из него, каким спросом за рубежом пользуются эти препараты, давая стране так необходимую сегодня валюту. Рассказывают нам и о той научной работе, которая ведется здесь.

И конечно, на память о нашем знакомстве, о посещении Дома змей нам предлагают сфотографироваться.

«Минуточку!» — просят нас подождать хозяева. И через несколько мгновений появляются с огромным — метра три в длину — удавом. Желтая с черными пятнами кожа удава холодновато поблескивает на ярком солнце, а сам он то распрямляется, вытягивается в руках людей, то начинает лениво сворачиваться в кольца, поводя головой из стороны в сторону.

Мы выстраиваемся для памятного снимка. Правда, почетное право держать удава мы предоставляем нашим хозяевам: никто из нас не решается дотронуться до него.

«Внимание!» — командует фотограф.

Я гляжу, как он прицеливается объективом, беспечно улыбаюсь и в этот момент чувствую, как кто-то осторожно прикасается к моей голой руке чуть пониже локтя — словно щекочет чем-то прохладным. Я опускаю глаза и вижу: удав!

Удав повернул голову и своим раздвоенным на конце длинным и тонким языком пробует мою руку!

Я постарался все же сохранить на лице беспечную улыбку. Не знаю, впрочем, насколько мне это удалось.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Это было в небольшом городе в одной из южных провинций, неподалеку от границы с Кампучией.

Днем, после обеда, у нас оказалось немного свободного времени, и мы вместе с нашими провожатыми решили сходить в торговый центр и на рынок — поглядеть, что там продается, и, может быть, купить на память какие-нибудь сувениры. Скажу сразу: сделать это нам не удалось. И вот почему.

В торговом центре царило оживление, и едва мы

приостановились, раздумывая, в какую сторону лучше податься, нас сразу же начали обступать ребятишки. «Ленсо, ленсо» — «Советский, советский», — пронеслось среди них. Сначала ребятишек было человек десять, потом еще десять, и еще десять, и еще… Их словно магнитом стремительно стягивало отовсюду сюда, к нам.

Они молча смотрели на нас и улыбались. Просто смотрели и улыбались, не произнося ни слова. Это были удивительные улыбки. В них угадывалась доброта и застенчивость. Они, эти улыбки, словно бы тихо всплывали на ребячьих лицах, мягко и чуть загадочно светились в глазах. Видя их, просто невозможно было не улыбнуться в ответ.

И мы улыбались. Тоже молча.

В ребячьей толпе были и совсем маленькие карапузы, и ребята постарше, и подростки. Народу вокруг нас все прибавлялось и прибавлялось.

Маленький мальчишка, стоявший к нам поближе, вдруг застенчиво протянул руку и осторожно потрогал одного из нас пальцем. И другой мальчонка тоже осторожно протянул руку и тоже потрогал.

Кольцо вокруг нас продолжало разрастаться. Мы хотели было подойти к одному из прилавков, но вся ребячья ватага тут же двинулась вместе с нами. Конечно, делать какие-либо покупки тут нечего было и думать.

А глаза ребятишек продолжали сиять, и лица их по-прежнему светились молчаливыми улыбками. Мы постояли так еще немного и пошли обратно к гостинице. И все ребятишки двинулись вслед за нами. А по пути к ним примыкали все новые и новые. Когда мы приближались к гостинице, за нами шла уже целая демонстрация. И взрослые люди, прохожие, останавливались и глядели нам вслед, стараясь понять, что происходит и в честь чего по улицам городка движется эта ребячья демонстрация.

Так мы подошли к гостинице.

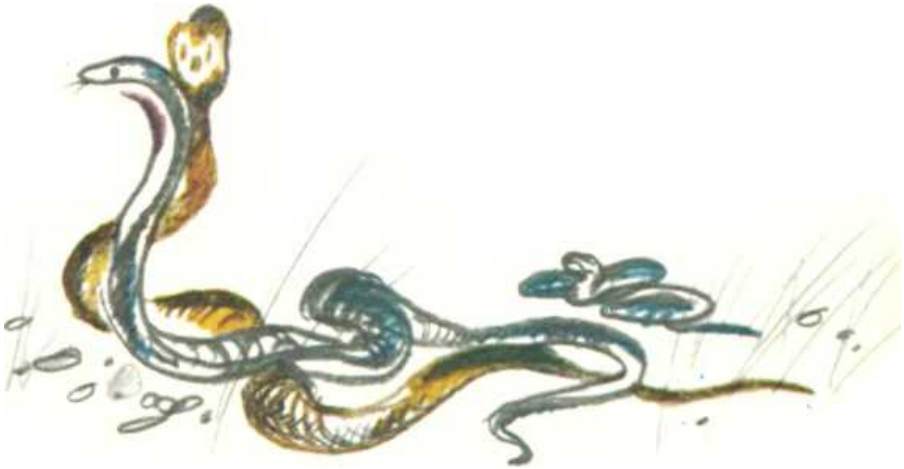
Помахали ребятишкам руками, прощаясь. А они все так же молча заулыбались в ответ.

«Вы не сердитесь на них, — сказал нам один из наших провожатых, когда мы очутились в тихом и пустынном холле гостиницы, — просто здесь редко бывают советские люди. Не сердитесь!»

«За что же сердиться!» — искренне изумился я.

У меня перед глазами все еще стояли приветливые лица вьетнамских ребятишек, их молчаливые улыбки, добрые и мягкие. Они и сейчас возникают у меня в памяти, когда я думаю о Вьетнаме, когда вспоминаю те дни, что провел в этой

гостеприимной стране.



«Прошу вас, не оборачивайтесь…»

В о время поездки по Соединенным Штатам Америки мне довелось побывать в городе Окленде — на родине Джека Лондона. Здесь мы, советские писатели, посетили скромный, существующий только на частные пожертвования музей Джека Лондона, встретились с дочерью замечательного писателя, рассказали о том, как любят книги ее отца в Советском Союзе. Две маленькие музейные комнатки примыкали к помещению городской библиотеки, и нас пригласили осмотреть библиотеку. Сотрудница библиотеки, пожилая, очень милая, приветливая женщина, вела нас вдоль полок с книгами, много и охотно рассказывала о редких изданиях, хранящихся тут, об организации работы библиотеки, о ее посетителях. А когда мы проходили через читальный зал, она вдруг понизила голос и сказала тихо, почти шепотом: «Вон там, за крайним столиком… только не оборачивайтесь, пожалуйста, все сразу… там, за крайним столиком, сидит настоящий индеец. Он часто приходит сюда. Только прошу вас, не оборачивайтесь сразу, он очень не любит, когда его разглядывают… когда его показывают…»

Что скрывать, конечно же, мне очень хотелось взглянуть на настоящего индейца, но я не стал оборачиваться. Зачем смущать человека? Кому приятно чувствовать себя экспонатом, на который устремлены любопытные взгляды?

И все же мне удалось увидеть этого человека. Это случилось, когда мы возвращались обратно через тот же читальный зал. Теперь необычный посетитель сидел прямо передо мной. Молодой, худощавый, он был одет в обычный европейский костюм, но резко очерченный профиль, смуглое скуластое лицо и прямые черные волосы выдавали его происхождение. Он не оторвался от книги, которую читал, но мне показалось, во всей

его фигуре ощущалось скрытое напряжение. Словно он и правда чувствовал на себе наши взгляды.

Случайный эпизод, случайная встреча… Однако я никак не могу забыть этого человека. В моих ушах все с той же отчетливостью звучит торопливый, извиняющийся шепот: «Только прошу вас, не оборачивайтесь сразу, он очень не любит, когда его разглядывают…»

Нет, я ни в чем не хочу упрекнуть нашу гостеприимную хозяйку. И понятна ее гордость от того, что индеец — пусть даже один! — приходит в библиотеку, и ее деликатность по отношению к нему можно и понять, и оценить. Разве ее вина, что в стране, именующей себя лидером «свободного мира», в стране, так пекущейся на словах о демократии и «правах человека», представитель коренного населения выглядит некоей диковинкой, экзотической фигурой? Разве ее вина в том, что сам по себе факт появления американского индейца в библиотеке воспринимается как нечто исключительное.

Случайный эпизод, но за ним ведь трагическая судьба целого народа, за ним целый клубок драматических проблем, которые не в состоянии разрешить общество капитализма.

Возможно, я и не стал бы вспоминать об этом эпизоде, если бы не сообщения, которые каждый день приносят нам газеты.

«Борец за права американских индейцев Леонард Пелтиер осужден на два пожизненных срока заключения… Осужден на основании лживого, сфабрикованного обвинения…» Жена Леонарда Пелтиера недавно побывала в Советском Союзе и рассказала о трагической судьбе этого мужественного человека. Честные люди Америки ведут борьбу за его освобождение.

«Один из руководителей Движения американских индейцев Деннис Бэнкс приговорен к трем годам тюремного заключения…»

Так американское правосудие расправляется с теми, кто поднимает свой голос в защиту прав коренного населения Соединенных Штатов Америки.

Чего же хотят эти люди, что отстаивают?

Они отстаивают право индейцев на человеческое существование, право не быть униженными и нищими, право на свой язык и на свою культуру. В резервациях, где живут индейцы, сегодня царят бедность, безработица, болезни. «Быть индейцем невыносимо, — говорит индианка из племени дакота, — вокруг столько горя…»

А вот что рассказала молодая индианка, сумевшая, подобно тому индейцу, которого я видел в оклендской библиотеке, получить образование, поступив в юридический колледж: «Когда я приехала в колледж, мне показалось, что я изучаю законы

какой-то другой страны, потому что ни одно из тех конституционных прав, о которых я читала, не существовало на практике там, откуда я родом. Полицейский, проезжая по улице, может просто ткнуть пальцем в любого индейца, попавшегося ему на пути, и пять минут спустя тот уже драит пожарные автомашины или полицейский автомобиль…»

«Помню, меня заставляли полоскать рот мыльной водой, — вспоминает другая индианка, Мэри Арвизо, из племени навахо, — за то, что я говорила на родном языке…»

«В мое время, — вторит ей Деннис Бэнкс, — у нас отбивали охоту говорить на языке чиппева или сиу розгами и резиновыми шлангами…»

Ныне, отчаявшись, тысячи индейцев покидают резервации, чтобы поискать счастье в больших городах. Но и там их ждут те же страдания, та же безработица, та же нищета… Так, из трех тысяч ста семидесяти восьми индейских семей, живущих в Нью-Йорке, лишь триста семьдесят одна семья имеет доход выше официального уровня нищеты. Остальные обречены на голод и лишения. Такова судьба тех, кого называют коренными жителями Америки.

«Он не любит, когда его разглядывают…» В тех же Соединенных Штатах я еще раз услышал почти эту же самую фразу. Только было это уже в Нью-Йорке, в негритянском районе — Гарлеме.

Наш туристский автобус медленно двигался по узким улицам мимо мрачноватых домов, мимо небольших баров и магазинов, возле которых толпились чернокожие граждане Соединенных Штатов. Одни из них с безразличным видом сидели прямо на ступеньках у дверей, другие стояли небольшими группами, жестикулировали, о чем-то спорили, провожая взглядами наш автобус. Подростки и старики, женщины и мужчины… Здесь шла какая-то своя, особая жизнь, не похожая на ту, которую мы только что видели в соседних кварталах Нью-Йорка.

«Постарайтесь воздержаться от фотографирования, — предупредила женщина-гид, сопровождавшая нас. — И не прижимайтесь к окнам. Они очень не любят, когда их разглядывают…»

«Они». Это слово было произнесено так, словно речь шла о людях иной, враждебной страны или иной, враждебной цивилизации. Атмосфера ненависти и страха, казалось, витала над городом.

Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами.

Я думаю, лишь побывав за рубежом, начинаешь словно бы заново видеть все, что давно стало для нас привычным, и с

особенной гордостью думаешь о том, какое это великое завоевание, какая это великая человеческая ценность — дружба народов! Дружба, которая закреплена не только законами нашего государства, но и самим образом нашей жизни, закреплена в наших душах, в наших сердцах.

Мне не раз приходилось бывать в различных республиках нашей страны, и везде я встречал людей, живущих яркой, полнокровной, насыщенной жизнью.

Никогда не забуду, например, выставку детского рисунка в маленьком отдаленном якутском поселке, куда и добраться-то чаще всего можно лишь на самолете, — выставку жизнерадостную, солнечную, исполненную светлой надежды и уверенности в будущем. Дети не умеют притворяться. И эти детские рисунки лучше, убедительнее всяких слов говорили о том, что их авторы уже с самого раннего детства чувствуют себя полноправными гражданами великой Советской страны, растут в атмосфере человеческого братства. Это чувство приходит к ним естественно и просто вместе с первыми строчками якутского букваря, вместе с первыми строками пушкинского стихотворения, вместе с впервые произнесенным именем Ленина.

А ведь не свершись Великая Октябрьская социалистическая революция, не возьми большевики власть в свои руки — и многие народности России постигла бы та же участь, которая постигла американских индейцев. И это не домысел, не досужее предположение.

Об этом свидетельствуют факты.

Однажды, когда я собирал материал для публицистической книги «На кого работает время», мне в руки попал старый томик, изданный еще до революции. Книга эта называлась «Очерки из жизни дикой Башкирии. Быль в сказочной стране». Ее автор, Николай Ремизов, рассказывал о том, как с помощью обмана и угроз некий купец Уткин сумел скупить у башкир землю, по территории почти равную Бельгии. И купил он ее всего за восемь тысяч рублей! Как это делалось?

А вот как: «Он выпоил башкирам несколько бочек вина, так что они подписывали пьяные, сами не зная что; дарил, или, вернее, подкупал „горлохватов“ — мироедов деньгами, чаем, сахаром, вином и т. п.» «…При проверке подписей господин Фок (а господин Фок был посредником между башкирами и купцом Уткиным) на башкир кричал, топал ногами, грозил засадить под арест, в тюрьму, а старшина Давлетбаев до того разошелся, что грозил прямо сослать несогласных на Амур!» И дальше: «Политики внушили и пустили в обращение гениальную идею, что земли для башкир составляют бремя, от которого нужно их

избавить, чем и облагодетельствовать дикарей…»

Разве эта история не напоминает почти буквально то, как обходились в Америке белые поселенцы и земельные спекулянты с индейцами, когда захватывали их земли? Почерк алчных любителей наживы, что в царской России, что в Соединенных Штатах, оказывается, одинаков. Но как неодинакова нынешняя судьба двух народов!

Мне довелось бывать в Башкирии, я сам, своими глазами видел высокоразвитую, процветающую республику. Внуки и правнуки тех, кого некогда, подобно американским индейцам, обманывали, спаивали, унижали, грабили, сгоняли с собственных земель, стали нефтяниками и учителями, учеными и врачами, стали полноправными гражданами Союза Советских Социалистических Республик. Даже тот повод, который привел меня в Башкирию, весьма знаменателен.

Я приехал тогда в Уфу, чтобы встретиться с известным башкирским писателем Анвером Бикчентаевым, договориться о публикации его новой повести в ленинградском пионерском журнале «Костер», в редакции которого я работал. Повесть Анвера Бикчентаева, рассказывающая о дружбе башкирских и индийских нефтяников, была напечатана в «Костре», и ее с интересом читали ребята всей страны.

Да что там далеко ходить за примерами! Примеры постоянно подсказывает сама жизнь. Когда в Ленинграде проходили Дни поэзии Бурятии, делегацию бурятских поэтов, приехавших к нам в гости, возглавлял мой старый товарищ еще по Литературному институту Николай Дамдинов. Я хорошо помню его совсем юным парнишкой, студентом. А теперь он стал руководителем Союза писателей Бурятии, избран депутатом Верховного Совета РСФСР. Его стихи и поэмы, переведенные на русский язык, пользуются ныне широкой популярностью. Прекрасная, впечатляющая судьба!

И уж если зашла речь о литературе, не могу не вспомнить еще одну историю, которую рассказал мне известный советский писатель Юрий Сергеевич Рытхэу. Юрий Рытхэу по национальности чукча, до революции его народ не имел даже собственной письменности, а теперь романы Юрия Рытхэу хорошо известны, отмечены литературными премиями не только в нашей стране, но и за рубежом.

И вот однажды, когда Юрий Рытхэу находился за границей, на Аляске, его пригласили прочесть лекцию о правах человека на съезде учителей Аляски. Лекция эта не была предусмотрена программой, и потому Юрий Рытхэу решил от нее отказаться.

«Почему вы приглашаете меня? — со свойственным ему юмором, сказал он. — У вас же есть собственный большой

специалист по правам человека — президент США. Пригласите лучше его». — «Нет, — ответили учителя, — что говорит о правах человека наш президент, мы хорошо знаем. А вот что думает о них советский писатель, нам бы очень хотелось послушать».

Делать нечего, пришлось соглашаться, тем более что, как выяснилось, и билет на самолет в город, где проходил съезд, был заказан, и о предстоящей лекции уже объявлено.

Однако к выступлению следовало подготовиться. О чем говорить перед учителями, чтобы все сказанное было убедительно и интересно? Произносить какие-то общие слова и прописные истины Юрию Рытхэу не хотелось. Но как же тогда построить свою лекцию?

В назначенный день Юрий Рытхэу появился перед учителями. И прочел лекцию. Он прочел лекцию о праве человека на родной язык. В его устах, устах одного из основателей чукотской литературы, эта лекция прозвучала особенно весомо и ярко. Зал слушал его с напряженным вниманием. Ведь здесь, на Аляске, еще помнили времена, когда эскимосским детям в школе запрещали говорить на родном языке. Как и детей американских индейцев, их наказывали за каждое произнесенное вслух родное слово. И если теперь в эскимосских школах обучение ведется и на родном языке, право на это было завоевано не без упорной борьбы. И пример Советской Чукотки сыграл здесь не последнюю роль.

Наша страна стала провозвестницей подлинной дружбы между народами. И мы хотим, чтобы народы всего мира жили в дружбе. Мы верим, что наступит день, когда вражда, ненависть, войны навсегда исчезнут с нашей планеты, когда человеческое братство восторжествует на всей земле.

Звук сирены над мирным городом

Так случилось, что один из самых первых моих рассказов я написал под впечатлением известий, приходивших в то время с Корейского полуострова. Тогда, тридцать с лишним лет назад, там полыхала война. Войну эту развязал тогдашний диктатор Южной Кореи Ли Сын Ман и его заокеанские покровители. Народ Северной Кореи храбро сражался против агрессоров. Война шла очень тяжелая, беспощадная. Многие города и села Кореи лежали в развалинах, тысячи людей гибли под бомбами и снарядами.

В те годы я был еще совсем молодым человеком, студентом-второкурсником. Трагические события, сотрясавшие Корейский полуостров, не могли не волновать меня и моих товарищей. Мы жадно вчитывались в сообщения об упорных боях, которые вела Корейская народная армия, с тревогой и волнением вслушивались в голоса дикторов, читавших по радио последние известия. Вот тогда-то (если не ошибаюсь, всего за один вечер) я и написал рассказ. Хорошо помню, как это было, помню тот первый толчок, тот непосредственный повод, который побудил меня взяться за перо.

Я учился в Москве, но время от времени приезжал домой, в Ленинград, и в такие дни особенно любил вечерами бродить по городу. Однажды, поздней осенью 1950 года, я шел по набережной Фонтанки. Дул сильный порывистый ветер, то и дело начинал моросить дождь. Я вышел к автобусной остановке, и, пока ждал автобуса, внимание мое привлекла газета, вывешенная тут же рядом на стенде.

При неровном свете уличного фонаря на уже успевшем намокнуть газетном листе я увидел фотографию. На ней были изображены тела корейцев, которых настигла смерть. Женщины,

дети, старики… Изуродованные лица, сведенные последней судорогой руки… Конечно, я и раньше встречал в газетах подобные фотоснимки, но отчего-то именно эта фотография, которую я увидел на мокрой газетной бумаге, под дождем, при колеблющемся, словно бы тревожном, свете фонаря, меня потрясла особенно.

Тогда, разумеется, я еще не знал, что мне, да и не только мне, а и всем людям Земли, еще предстоит в последующие годы с ужасом и содроганием вглядываться в десятки подобных фотографий, только сняты они будут уже не на полях Кореи, а в деревнях Вьетнама, в городах Гренады, Ливии, Ливана… Сделанные в разных местах, в разное время, они будут свидетельствовать о том, что повадки американского империализма и его приспешников не меняются с годами, они остаются все теми же — бесчеловечными и жестокими.

А в тот дождливый, ветреный вечер я еще долго стоял, потрясенный, возле газеты и потом, вернувшись домой, попытался тут же на бумаге рассказать о своих переживаниях, о той боли, которой отдалась эта газетная фотография в моем сердце. Впрочем, настоящего рассказа у меня не получилось, скорее это был лишь черновик, набросок… Но тот вечер и испытанные мной чувства сострадания, гнева, горечи остались в моей памяти навсегда, на всю жизнь.

В те дни я не догадывался, не мог предположить, что пройдут многие годы и мне самому доведется побывать в Корейской Народно-Демократической Республике, доведется своими глазами увидеть и те места, где некогда шли бои, и новые высотные дома Пхеньяна, поднявшиеся там, где громоздились руины, и военно-демаркационную линию, которая рассекла страну на две части…

ДВОРЕЦ ДЛЯ НАРОДА

Когда меня спрашивают, что мне больше всего понравилось в Пхеньяне, что произвело самое яркое впечатление, я без колебаний отвечаю: «Народный Дворец учебы».

Об этом Дворце я услышал уже в самый первый день нашего пребывания в Пхеньяне. Мы катили на легковой машине из аэропорта к гостинице, путь наш пролегал по широкой и чистой центральной улице. И вот тогда-то наш гид-переводчик, студент университета, совсем еще молоденький симпатичный парнишка, в характере которого приветливость и дружелюбие соединялись с застенчивостью, торопливо проговорил, кивнув куда-то вправо: «А вот это — Народный Храм учебы. Сюда я хожу заниматься по

воскресеньям».

Из окна машины я успел разглядеть изящное и одновременно величественное здание, обликом своим напоминавшее древнюю пагоду. Крытое голубой черепицей, огромное, оно тем не менее казалось удивительно легким, словно бы парящим невесомо в прозрачном воздухе.

«По-русски лучше будет сказать: Народный Дворец учебы, — поправился гид, для верности заглянув в путеводитель. По-видимому, он еще не очень уверенно владел русской разговорной речью и поначалу словно бы примеривался к каждому слову, прикидывал, каким лучше воспользоваться. Он явно волновался, опасаясь: вдруг мы его не поймем или поймем неверно. — Да, да, — повторил он, — так будет правильно: Народный Дворец учебы».

После обеда мы отправились в поездку по городу, и опять путь наш лежал по центральной улице, и опять гид старательно выговорил: «А это — Народный Дворец учебы».

И потом, сколько бы мы ни проезжали мимо этого примечательного здания — а проезжали мимо него мы довольно часто, — он каждый раз не без гордости пояснял: «А это — Народный Дворец учебы. Я здесь занимаюсь по воскресеньям».

«Да, да, мы уже знаем», — отозвался я однажды. «Правильно, правильно, знаете», — закивал он обрадованно.

Но в следующий раз, когда машина наша стремительно пробегала мимо Дворца, все-таки сказал снова: «А это — Народный Дворец учебы…»

Может быть, он считал, что в моем возрасте люди уже начинают страдать забывчивостью?

А через день мы наконец посетили и сам Дворец. Внутри он оказался не менее впечатляющим, чем снаружи. Отделанные мрамором полы и стены, сверкающие люстры, бесшумно бегущие эскалаторы… И самое главное: библиотека, располагающая миллионами томов, огромные читальные залы, автоматическая доставка книг, аудитории, в которых каждый может прослушать и просмотреть нужную ему лекцию, записанную на видеомагнитофон, кабинеты для изучения иностранных языков, фонотека с самой современной аппаратурой… Нам рассказали, что за день Дворец может принять двенадцать тысяч читателей и слушателей. А еще мы узнали, что построен этот Дворец был совсем недавно, в 1982 году, и построен в поистине рекордный срок: за год и девять месяцев! Честное слово, здесь было чем восхититься!

Однако следующим утром, когда наша машина свернула на центральную улицу и знакомый силуэт Дворца возник впереди,

гид вдруг сказал снова: «А это — Народный Дворец учебы. Я здесь… — И тут он словно бы слегка споткнулся, взглянул на меня с застенчивой, как бы извиняющейся, улыбкой и все же закончил: —…занимаюсь по воскресеньям».

И вдруг мне показалось, я понял, в чем дело. Я вдруг понял, что ему, этому парнишке, просто доставляет удовольствие лишний раз обратить наше внимание на это замечательное создание рук человеческих. А еще он, сын крестьян, обыкновенных сельских кооператоров, конечно же, гордится тем, что ходит сюда, в этот Дворец, в этот Храм науки, что занимается здесь, и он не в силах лишний раз не поделиться с нами этой своей гордостью.

Что же, теперь я мог и понять, и разделить эту его гордость!

КТО САМЫЙ ХРАБРЫЙ?

Мы сидим в кабинете директора одной из пхеньянских школ, и наш хозяин с увлечением рассказывает нам о школе, о предметах, которые здесь изучают ребята, о своих делах и заботах. Потом он нажимает кнопку на панели стоящего тут же чуть поодаль телевизора, вспыхивает цветной экран, и мы видим…

Погодите, погодите, что же мы видим? Да это же наша машина подкатывает к школе! А вот и мы сами — я и мой спутник Николай Луков, главный редактор украинского журнала «Днипро», — выбираемся из машины… Оказывается, в пылу встречи, приветствий мы и не заметили, как нас уже успели заснять на видеомагнитофон.

Директор, улыбаясь, смотрит на наши удивленные лица. Он очень доволен этим маленьким сюрпризом. Теперь можно вести нас осматривать школу. Как-никак, а первое впечатление о том, чем оборудована школа, какой техникой она располагает, мы уже получили.

И правда, директору есть отчего радоваться. Он-то ведь еще помнит иные времена: когда за образование надо было платить, когда покупка учебников превращалась в проблему, когда пойти учиться — это значило оторвать от семьи и без того скудные средства. Как тут решишься сказать, что мечтаешь о школе, если видишь, что в семье на счету каждая копейка?.. Другое дело — теперь. Ни о ком так не заботится народная власть, как о детях. Не случайно по расходам на просвещение, приходящимся на душу населения, Корейская Народно-Демократическая Республика занимает одно из первых мест в мире.

В хорошо оснащенных, оборудованных современными приборами классах шла сосредоточенная работа. В кабинете химии ребята мудрили над реактивами, на уроке физики постигали законы электромагнетизма, а на естествознании изучали растительный мир…

Чему можно было позавидовать в этой школе, так это дисциплине и порядку. Мальчишки, которые попадались нам навстречу в школьных коридорах, не мчались напропалую, рискуя впопыхах боднуть кого-либо из нас в живот, а, завидев директора, приостанавливались и легким наклоном головы почтительно приветствовали старших. Впрочем, это нисколько не мешало тем же мальчишкам, как им и положено, с упоением носиться по спортплощадке или гоняться друг за другом по школьному двору…

Вот директор распахнул перед нами очередную дверь, и уже по выражению лица, с которым он это сделал, можно было догадаться, что там, за этой дверью, нас ждет нечто особенно важное. И верно: здесь, в лингвистическом кабинете, шел урок русского языка. Работали магнитофоны, бесшумно бежала магнитофонная лента, ребята-пятиклассники в надетых наушниках выглядели сосредоточенно-серьезными. Только некоторые исподволь с любопытством поглядывали на нас.

Честно говоря, я ждал, что найдется среди них такой храбрец, которому обязательно захочется испытать себя и поговорить с нами по-русски. Я даже решил мысленно, что непременно узнаю имя этого отважного мальчишки и рассказ о нем так и назову: «Кто самый храбрый?». Однако ребята только по-прежнему хитровато постреливали в нас глазами и тут же опять озабоченно хмурили брови. Видно, не так-то просто давался им русский язык!

Конечно, можно было наугад заговорить с любым из них, но мне не хотелось смущать этих славных мальчишек. Я представил себя на их месте. Наверняка я бы тоже не решился заговорить с иностранцем на его языке. Тут от одного волнения сразу забудешь все, что знал.

Я подождал еще немного, но, похоже, смельчаков в этом классе не обнаруживалось. И чтобы не мешать уроку, мы пошли дальше.

И когда мы опять оказались в школьном коридоре, откуда-то издали вдруг донеслась негромкая мелодия. Вроде бы репетировал духовой оркестр. Я прислушался. Что-то удивительно знакомое чудилось в этой мелодии. И сами собой вслед за мелодией всплыли знакомые с детства слова:

Смело, товарищи, в ногу,

Духом окрепнем в борьбе…

Когда-то в детстве я очень любил эту песню. Да и не только эту. У нас дома бережно хранился потрепанный старый песенник — там были слова песен революционных лет и песен гражданской войны. Мои любимые песни. Я пел их (правда, чаще всего не вслух, не в полный голос, а про себя, мысленно), и мне казалось, будто я становлюсь участником тех великих событий, которым они посвящены. И вот теперь, спустя много лет, дорогая мне мелодия вдруг зазвучала здесь, вдали от Родины, в коридоре корейской школы, за тысячи километров от моего дома… Так я и унес ее с собой.

…Ну а самый храбрый? Кто же все-таки оказался самым храбрым?

А самым храбрым или, вернее, самой храброй оказалась маленькая девочка, которая попалась нам навстречу неподалеку от гостиницы.

Она подошла к нам и сказала: «Будьте готовы! Здравствуйте!»

Веселые, отчаянные смешинки прыгали в ее глазах, и мы — сразу в два голоса — сказали ей: «Здравствуй!»

НА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

В сопровождении корейского офицера мы вышли на специальную балюстраду. Перед нами всего в десятке-другом метров лежала уже чужая территория. Там, за линией перемирия, начиналась Южная Корея. Из-за приземистого строения появился солдат, вроде бы в американской форме, посмотрел в нашу сторону, щелкнул фотоаппаратом. Так началось наше знакомство с тридцать восьмой параллелью, по которой проходит военно-демаркационная линия, разделяющая Корею на две части.

Затем наши корейские друзья показали нам дом, где после нелегких, изнурительно долгих переговоров в июле 1953 года было подписано соглашение о перемирии. Свою подпись под этим соглашением поставил американский генерал Кларк. Впоследствии он писал в своих мемуарах: «Выполнив правительственные инструкции, я удостоился лишь бесславной чести оказаться первым американским командующим, который подписал соглашение о перемирии в проигранной войне».

На столе, за которым было подписано это соглашение, до сих пор, как и тогда, июльским днем 1953 года, стоят два флажка: один — государственный флаг Корейской Народно-

Демократической Республики, другой — флажок Организации Объединенных Наций. Но почему, собственно, ООН? Ведь соглашение подписывал американский командующий? Так отчего же не звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов красуется на этом столе?

Дело в том, что тогда, тридцать с лишним лет назад, Соединенным Штатам нередко удавалось навязывать Организации Объединенных Наций, Совету Безопасности свои, американские взгляды на международные события, свои, выгодные американцам решения. Слишком много стран зависело тогда от Соединенных Штатов. Так было и во время войны на Корейском полуострове. Используя голоса послушных воле Соединенных Штатов государств, американское правительство сумело добиться того, что войска, пришедшие на выручку южно-корейскому диктатору, действовали под флагом ООН. А командовали ими, конечно же, американские генералы. Да и солдаты в большинстве своем тоже были американские.

Но Корейская Народно-Демократическая Республика в те трудные дни не осталась одинокой. На ее стороне были все прогрессивные народы мира, страны социализма. Именно они помогли народу КНДР выстоять в неравной борьбе.

Все это не могло не вспомниться, пока я глядел на маленький голубой флажок. Впрочем, он, этот флажок, давно уже потерял свой цвет, полинял, поник и выглядит совсем ветхим. И кажется, чувствует он здесь себя неуютно, не на своем месте. И пожалуй, не только время тому причиной.

Ведь за годы, что минули с той поры, когда флажок этот появился здесь, очень и очень многое изменилось в мире. Немало государств обрели свою независимость и самостоятельность — они не хотят уже подчиняться диктату Соединенных Штатов. И теперь все чаще в Организации Объединенных Наций Соединенные Штаты оказываются в меньшинстве, а то и вовсе в одиночестве. И конечно, Соединенным Штатам это очень не нравится. Такая Организация Объединенных Наций вызывает их раздражение. Им бы хотелось, чтобы ООН всегда была послушна американской воле. Однако история не поворачивается вспять. И американским политикам остается теперь только то и дело обрушивать свой гнев на «непослушную» Организацию Объединенных Наций и тосковать по прежним временам. О том, как далеко и бесповоротно ушли эти времена, лишний раз напоминает выцветший, поникший флажок.

СТЕНА

Я приник к окулярам стереотрубы, и то, что еще минуту назад там, вдали, казалось лишь грязновато-белой, едва различимой полоской на фоне зелени, покрывающей склоны гор, теперь превратилось в мощную железобетонную стену. Чуть дальше за стеной виднелась наблюдательная вышка и еще какие-то сооружения.

Так вот она какая, эта бетонная стена, которая теперь пересекает с запада на восток весь Корейский полуостров.

Зачем и кому она понадобилась? Южно-корейские правители, по чьему приказу она построена, уверяют, что таким образом они защищаются от возможной «агрессии с Севера». Что ж, прием не новый. Ведь тем, кто стоит сегодня у власти в Южной Корее, нужно как-то оправдать и присутствие на территории страны американских войск, и существование военных баз под звездно-полосатым флагом, и все возрастающие поставки вооружений из-за океана… Вот и идет в ход легенда об угрозе с Севера.

На самом же деле если кто и угрожает правителям Южной Кореи, так это лишь собственный народ. Именно народ не желает мириться с полицейскими порядками, установленными на юге Корейского полуострова. Не случайно самое настоящее народное восстание охватило в 1980 году южно-корейский город Кванчжу. Несколько дней город был в руках восставших. Только силой штыков южно-корейским генералам удалось тогда подавить восстание. Расправа с восставшими была жестокой. Но это не сломило волю народа. Борьба против полицейского режима, против американских ставленников продолжается.

Что же касается стены, то южно-корейские правители очень хотели бы воздвигнуть подобного рода стену не только здесь, южнее тридцать восьмой параллели, но и на пути любого сближения, взаимопонимания, любых контактов между гражданами Корейской Народно-Демократической Республики и их соотечественниками, живущими на Юге.

В сентябре 1985 года по инициативе общества Красного Креста после долгих переговоров в Сеул отправилась группа «посетителей родных мест». Пятьдесят человек поехали на Юг, чтобы повидаться со своими родственниками. Как проходили эти встречи, рассказывает один из членов этой группы Чон У Бон:

«Трудно передать то чувство волнения, с которым я ехал в Сеул. Оказавшись в отеле, я долго не мог заснуть: перед глазами без конца рисовались лица родных, с которыми мне предстояло увидеться на следующий день. Я и не догадывался, какой удар ждет меня. Утром представители властей Юга сообщили мне, что они не успели разыскать моих родственников. Да и не только моих. Из пятидесяти членов нашей группы двадцать так же, как и

я, напрасно надеялись увидеться со своими родственниками.

Разве выразишь словами мое состояние! Наше короткое пребывание в Сеуле уже заканчивалось. Вечером я вышел из ресторана в отеле и направлялся к лифту, как вдруг откуда-то донесся тонкий голос, зовущий меня: „Хан Ен Бом!“

Мгновенно я оглянулся. Так называли меня только в детстве. Уж не почудилось ли мне?

В фойе многочисленные агенты со знаком „проводник“ или „пресса“ плотно окружали наших людей, в этой толпе я никого не мог разглядеть. И вдруг…

„Кого я вижу! Не ошибаюсь ли, вас зовут Хан Ен Бомом?!“ Раскинув руки, ко мне спешила женщина лет шестидесяти.

Не без труда я узнал ее. Это была жена моего брата, с которой мы не виделись много лет. Вслед за ней появился племянник.

Слезы застилали мои глаза, от волнения я не мог говорить.

Но в этот момент несколько молодчиков грубо оттолкнули старую женщину так, что она не удержалась на ногах. Один из них схватил меня за руку и потащил к лифту…»

Сколько ни протестовал Чон У Бон, сколько ни пытался добиться, чтобы ему дали возможность в спокойной обстановке переговорить с родными, кончилось все тем, что специальные агенты оттеснили родственников Чон У Бона, а затем увели их куда-то. В сумятице они только и успели сказать друг другу несколько слов. Больше встреча с ними так и не состоялась.

ЗВУК СИРЕНЫ

Это было неожиданно и странно. Горничные в отеле вдруг начали затягивать окна черными светонепроницаемыми шторами. И делали это сноровисто и старательно — так, чтобы нигде не оставалось ни щелки. Позже, уже вечером, я услышал воющий звук сирены. Звук этот прокатился по городу и затих. На мгновение я погасил свет в комнате и, отогнув край шторы, выглянул на улицу. Город был погружен во тьму. Только чуть посвечивал фонарик постового регулировщика. Еле угадывались темные, без единого огонька, глыбы домов.

Я тщательно прикрыл штору и снова включил свет. В этот момент ко мне в номер заглянул мой спутник Николай Луков. У него было взволнованное и удивленное лицо.

«Что происходит? — спросил он. — Я не понимаю».

Он был сравнительно молодым человеком, родившимся уже после войны, и ему действительно трудно было догадаться, что

означает все происходящее. Я же понял сразу. Я хорошо помнил, как еще до войны в Ленинграде устраивались учебные воздушные тревоги. Как выла сирена, как тщательно соблюдалась светомаскировка, как погружался город в черноту ночи… То же самое происходило теперь в Пхеньяне.

Часа через полтора прозвучал сигнал отбоя. Город снова засветился огнями.

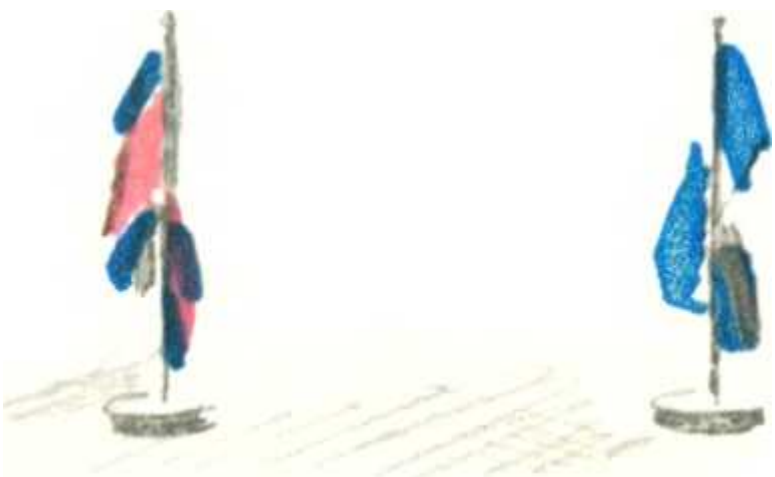
Если говорить честно, в тот вечер в Пхеньяне я испытывал некоторые сомнения: так ли уж необходимо сейчас, в мирное время, будоражить город учебными тревогами? Да, должен признаться, именно такие мысли приходили мне в голову.

Но вот спустя всего несколько месяцев после нашей поездки мир стал свидетелем того, как без всякого предупреждения, по-пиратски обрушила американская авиация бомбовый удар на столицу Ливии. Обрушила только потому, что Вашингтону не по нраву политика этого государства.

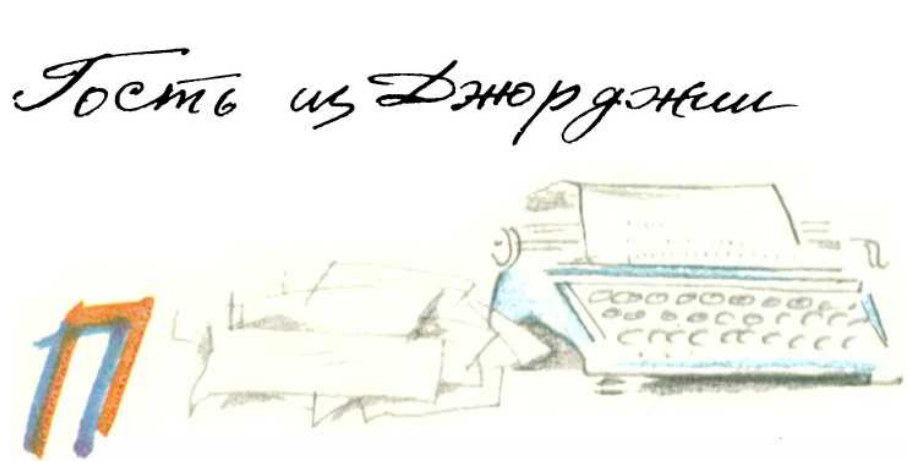
«Так кто же может сказать, — думаю я теперь, — какую страну решат „наказать“ американские правители в следующий раз, какой город изберут своей целью? И кто знает, не с военных ли баз, расположенных в Южной Корее, поднимутся тогда в воздух американские бомбардировщики?»

Вот и сейчас, когда я пишу этот очерк, передо мной на столе лежит утренняя газета с таким сообщением: «Как передает агентство ЦТАК, самолет американских ВВС SR-71 сегодня вторгся в воздушное пространство над территориальными водами КНДР к востоку от Косона…».

Так что нет, пожалуй, совсем не напрасно время от времени звучит сигнал тревоги над мирным Пхеньяном. Город этот знает, что такое война, и потому он так дорожит своим чистым небом.



Гость из Джорджии



очему я решил написать именно об этой встрече? Почему среди немалого числа других встреч и бесед с зарубежными коллегами именно эта запечатлелась в моем сознании едва ли не со стенографической точностью? Не оттого ли, что за этой беседой мне видится нечто большее, чем просто обмен мнениями между двумя людьми: в ней как бы столкнулись две позиции, два мироощущения и в то же время, как в малой капле, отразились стремление к общению, желание понять друг друга, которые ныне присущи многим и многим людям, живущим по разные стороны океана. Так или иначе, но, пока эта встреча живет в моей памяти, я хочу рассказать о ней.

У него было открытое, веселое, располагающее к себе лицо. И от всей его фигуры, от всего облика, казалось, так и веяло жизнерадостной энергией, общительностью и жизнелюбием. А галстук бабочкой словно бы лишний раз подчеркивал артистическую непринужденность, непосредственность его натуры.

Едва переводчица представила мне гостя: писатель из Джорджии, из Соединенных Штатов, едва назвала его имя, едва мы успели обменяться рукопожатиями, как он уже спрашивал, показывая на значок депутата Ленсовета, приколотый на лацкане моего пиджака: что, мол, это такое? Что он означает?

Я объяснил и сказал, что многие советские писатели избраны не только депутатами местных Советов, но и депутатами Верховного Совета СССР, Верховных Советов союзных республик.

— О-о! — смеясь, воскликнул американец. — У нас, в Соединенных Штатах, писателям так не доверяют. — И тут же,

однако, добавил не без вполне определенного умысла: — Впрочем, настоящий художник всегда должен находиться в оппозиции к власти, к правительству. Не так ли? — И, продолжая улыбаться, все так же открыто и жизнерадостно смотрел на меня, пока переводчица переводила произнесенную им фразу.

— Все дело в том, по отношению к *какой* власти, по отношению к *какому* правительству, — сказал я. — Если правительство работает во имя народа, ради блага народа, если именно в этом видит свою высшую цель, то как же истинный художник, служащий народу, может не поддерживать такое правительство всей душой и сердцем?

Мой собеседник торопливо покивал в ответ, то ли действительно соглашаясь с моими словами, то ли словно стремясь сказать: да, да, все это мне известно, ничего другого, мол, я и не ожидал от вас услышать. Так обычно кивает человек, сосредоточенный на чем-то своем и уже спешащий задать новый вопрос. И правда, американец, едва выслушав перевод, тут же сказал:

— И все-таки… Все-таки мне бы хотелось услышать от вас: как вы, Союз писателей, относитесь к партии, правительству? Каковы эти взаимоотношения?

— Мне кажется, я уже ответил на этот вопрос, — сказал я.

— Хорошо, я поясню свою мысль, — отозвался гость. — В Москве меня познакомили с материалами вашего писательского пленума. Я прочитал их. Партия, как я понял, требует от вас, писателей, непременно прославлять общество социализма.

— Простите, — сказал я. — Я был участником пленума. И я вынес оттуда нечто совсем другое. Кстати, если помните, там как раз говорилось о том, что нередко на Западе, ухватившись за какую-либо примитивную, посредственную книгу, выпущенную в нашей стране, тут же начинают уверять: смотрите, вот, мол, результат партийного вмешательства в искусство! Стоит же появиться книге яркой, умной, выразительной, сложной — и западного читателя сразу же пытаются уверить, что книга эта написана, мол, вопреки партийным установкам…

— Возможно, я неточно выразился, — охотно согласился мой собеседник. — Скажем по-другому: партия, как я понял, призывает писателей быть верными идеям социализма. Так?

— Так, — сказал я. — Это верно.

— Однако если писатель должен следовать каким-то идеям, он уже не может быть свободен в своем творчестве. И разве требовать от художника быть верным каким-либо определенным идеям не означает осуществлять своего рода насилие над его творчеством? И не должно ли такое насилие, в свою очередь,

вызывать протест у настоящего художника?

Он проговорил все это с искренним пылом, с напористой самоуверенностью и теперь заинтересованно ждал моего ответа.

В общем-то, это был совсем не новый мотив. Казалось бы, на подобные вопросы, на подобные сетования тех, кто так или иначе проявляет «заботу» о свободе творчества советских писателей, наша многонациональная литература ответила уже давно и весьма убедительно, ответила лучшими своими достижениями, ставшими славой и гордостью мировой культуры. И тем не менее нет-нет да и приходится снова слышать подобные рассуждения. Причем исходят они чаще всего от тех, кто знает советскую литературу не по книгам, не по реальной работе советских писателей, а судит о ней, что называется, с чужого голоса, по трудам различного рода «советологов» и прочих специалистов подобного толка.

— Вы ошибаетесь, — сказал я моему собеседнику, — и вот почему. Если исходить из того, что в основе подлинной литературы, в частности русской классической литературы, наследниками и продолжателями которой мы стараемся быть, всегда лежали стремление к справедливости, вера в добро, мечта о торжестве человечности над силами зла и насилия, то как же нам, советским писателям, не быть верными идеям социализма! Ведь они, эти идеи, идеи социализма, и ведут к реальному, практическому осуществлению тех высоких идеалов, которыми жила русская классическая литература, которыми живет сегодня литература советская. Так что верность идеям социализма — это для нас естественная потребность сердца. И задачи, которые ставит перед нами партия, и задачи, которые мы ставим перед собой сами, они — едины.

— Хорошо, — сказал мой собеседник. — Тогда я бы хотел поставить вопрос конкретнее: имеет ли советский писатель право и возможность выражать свое несогласие с какими-то сторонами жизни вашего общества? Может ли критически подходить к ним?

— Разумеется, — сказал я, а про себя вновь подумал: «Знай этот человек нашу литературу хоть чуть-чуть получше, прочти он хоть несколько наиболее значительных книг современных советских писателей, — наверно, он бы не стал задавать подобных вопросов и мне бы не пришлось объяснять ему, в общем-то, элементарные истины». — Разумеется, — повторил я. — И чтобы не быть голословным, приведу только один пример. В свое время и партия наша, и народ были очень обеспокоены состоянием нашего сельского хозяйства. И именно наша литература сделала немало, чтобы привлечь общественное внимание к нерешенным проблемам деревни, к проблемам,

нередко очень острым, больным, вокруг которых шли горячие споры. Конечно, не всегда бывает просто высказать свое мнение, свою точку зрения, пойти наперекор каким-либо устоявшимся, устарелым представлениям. Для этого необходимы и талант, и гражданское мужество. И такими качествами наша литература, лучшие наши писатели обладают. Достаточно назвать такие имена, как Валентин Овечкин, Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василь Быков, Чингиз Айтматов…

На этот раз он выслушал меня внимательно и больше не кивал торопливо, а сказал только:

— К сожалению, я не читал этих писателей. Вообще, у нас очень мало переводят и издают современную советскую литературу. И это, конечно, жаль. Нам нужно лучше знать друг друга…

Я не удержался и заметил, что американская литература, в том числе и современная, широко переводится и издается в нашей стране, — во всяком случае, книги американских писателей в Советском Союзе издаются несравнимо чаще, чем книги советских писателей в Соединенных Штатах.

— Да, это верно, это верно… — посокрушался гость. — Но будем надеяться, положение изменится к лучшему.

— Будем надеяться, — сказал и я.

Уже не первый раз, беседуя с зарубежными писателями, мне да и моим товарищам по перу приходилось касаться этого вопроса. Помню, как лет десять тому назад, когда с группой советских писателей я побывал в Соединенных Штатах, одна из переводчиц русской литературы так объясняла нам сложности, возникающие на пути издания советских книг. «Видите ли, — говорила она, — американскому читателю просто трудно будет понять некоторые специфические стороны вашей жизни, вашей истории. Например, нашему читателю далеки и малопонятны те трудности, которые переживали ваши люди во время войны. Это отпугивает издателей». Не могу сказать, что это объяснение тогда показалось мне сколько-нибудь убедительным: если рассуждать подобным образом, то многие стороны американской действительности, — допустим, жизни американского Юга — тоже, казалось бы, весьма далеки для советского читателя. Но тем не менее в нашем сердце вызывают отклик и Фолкнер, и Болдуин, и Апдайк, и многие другие американские писатели. Впрочем, находилось и другое объяснение. «У нас, в Штатах, — говорили мне, — среднего читателя мало интересует книга как таковая, как художественное произведение. Его больше интересует все, что происходит вокруг этой книги. Скажите подобному читателю: „С этой книгой никогда не расстается знаменитый спортсмен такой-

то“, или: „Этот роман вызвал возмущение у такого-то политического деятеля“, или: „Эту книгу нашли в квартире убитой актрисы такой-то“ — и вот тогда интерес к книге будет обеспечен. Иначе говоря, все делает реклама. А реклама — это ведь тоже политика».

Так или иначе, но проблема эта волнует сегодня американских литераторов. Как раз примерно в те же дни, когда состоялась моя беседа с гостем из Джорджии, я прочел в журнале «Иностранная литература» весьма выразительное признание другого американского писателя — Патрика Д. Смита, который рассказал о своей встрече с московскими студентами: «…потом меня попросили назвать имена любимых русских писателей нашего времени и сказать, почему мне нравятся их произведения, и тогда я понял, что иду ко дну. Я не мог назвать ни одного имени. В виде слабого извинения я сказал, что за последние три года получил много книг из Советского Союза, но только на русском языке и все они до сих пор не переведены. Я назвал русских писателей, которых изучал, когда работал над магистерской диссертацией: Достоевского, Толстого, Чехова. Но студенты ждали другого. Они хотели услышать имена современных писателей, а я молчал самым жалким образом.

И пока я, онемев, стоял и отчаянно пытался найти выход из создавшегося положения, у меня в голове одна мысль сменяла другую: вот эти русские здесь, в далекой Москве, знают о современных американских писателях, наверное, не меньше меня, а я не в состоянии даже несколько минут поговорить с ними о литературе их страны. Как сильно мы отличаемся друг от друга и какой же я болван, что не подготовился к этой беседе! Но сколько есть у меня на родине библиотек и книжных магазинов, где можно найти хотя бы один томик прозы или поэзии современного русского писателя?»

Степень смущения, которое испытывал мой собеседник, гость из Джорджии, была, как мне кажется, значительно меньше описанной его коллегой, однако и он не без грусти признал, что книги современных советских писателей для него остаются неведомыми. Впрочем, он тут же постарался снова перевести разговор в прежнее русло, к той теме, которая занимала его больше, чем что-либо другое.

— Вот вы говорите: «идеи социализма», «вера в добро», «человечность», — сказал он. — Но не ограничиваете ли вы тем самым свободу творчества?

— Не думаю, — сказал я. — Видите ли, у нас иной взгляд на свободу творчества. Абстрактной свободы, свободы вообще быть не может, — вот из чего мы исходим. И я, например, не могу ни

понять, ни принять такой ситуации, когда, допустим, преступник, совершивший зверское убийство, осужденный за это, пишет в тюрьме свои мемуары, а издательства соперничают между собой за право их опубликовать. Это что, тоже «свобода»? Если под лозунгом свободы печати, свободы творчества проповедуется культ насилия, жестокости, человеконенавистничества, то нет уж, извините, нам не надо такой свободы! Такая свобода лишь попирает человеческое достоинство.

— Я тоже против жестокости и насилия, — сказал мой собеседник. — Однако не стоит придавать всему этому слишком большого значения.

— Почему же? Возьмите, к примеру, пропаганду войны. Если бы у нас, в Советском Союзе, кому-либо вдруг пришла в голову мысль написать книгу, рисующую будущую войну с вашей страной, воспевающую, так сказать, эту войну, проповедующую ненависть к американскому народу, подобную книгу действительно не напечатало бы ни одно издательство. Хотя у нас тоже есть Конституция, гарантирующая свободу слова. Но у нас есть и закон, запрещающий пропаганду войны. А в Соединенных Штатах, я знаю, подобные книги и подобные кинофильмы выходят. И это тоже оправдывается необходимостью соблюдать свободу печати, свободу творчества, не так ли? Мы, скажу прямо, против такой «свободы».

— Не нужно относиться к этому так серьезно, — повторил мой собеседник. — Эти книги и фильмы не делают погоды. Я уверяю вас: в нашей стране никто не хочет войны с вами. Американцы хотят мира.

— Что ж, хорошо, если дело обстоит действительно так. Однако советско-американские отношения, как вы знаете, ухудшились вовсе не по нашей вине…

— Да, это верно, — сказал гость. — Их надо улучшать. И знаете, я думаю, что могло бы существенно повлиять на их улучшение?

— Что? — спросил я.

— Если бы ваша страна… видите ли, нам, американцам, многое непонятно в вашей стране, в вашей системе. И я уверен: если бы вы несколько изменили свои порядки, это бы сразу отразилось на наших отношениях в лучшую сторону.

Вот, оказывается, как все просто! Стоит нашей стране «изменить свои порядки», а иначе говоря, отказаться от завоеваний социализма, и сразу наступит мир и благодать!

— Вам не кажется, — сказал я, — что такая позиция выглядит по меньшей мере очень странно? Так мы никогда ничего не добьемся. Нам, советским людям, также ведь многое непонятно

из того, что происходит в вашей стране, многого мы не разделяем. И тем не менее мы не ставим никаких условий, мы не говорим: измените вот то-то, измените вот это и тогда, мол, наши отношения сразу улучшатся. В конце концов, как жить — это дело каждой страны, каждого народа, и с этим надо считаться.

Он слушал меня и опять кивал, но понимал ли, что я хочу сказать? Соглашался ли? Или, как бы ни располагал он к себе своей открытой, жизнерадостной улыбкой, слишком глубоко засели, укоренились в его сознании предрассудки относительно нашей страны? Ведь он не пробыл в Советском Союзе еще и нескольких дней, а уже брался судить о том, как следовало бы нам вести свои внутренние дела. Откуда эта предвзятость, эта запрограммированность сознания?

Впрочем, очень возможно, сейчас, глядя на меня, слушая, что я говорю, он думал обо мне примерно то же самое, что я о нем. И все-таки, что бы там ни было, один тот факт, что мы сидели сейчас друг против друга в Ленинградском Доме писателей и откровенно говорили обо всем, что волновало нас обоих, конечно же, многое значил!

— Однако вы у себя в стране, я заметил, тоже культивируете антиамериканские настроения, — вдруг сказал мой собеседник.

Тут уж я не мог сдержать искреннего изумления:

— Антиамериканские настроения? Но в чем?

Он заговорил горячо и торопливо, и переводчица объяснила мне, что, оказывается, наш гость, проходя по Невскому, видел антивоенный плакат, на котором был изображен дядя Сэм с ядерной бомбой или что-то в этом роде.

— Но при чем здесь антиамериканские настроения? — сказал я. — Антимилитаристские — да. Мы против тех кругов, кто ратует за гонку вооружений. Что же касается американского народа, то к нему мы всегда испытывали и уважение, и глубокую симпатию.

— Значит, мы должны с большим доверием относиться друг к другу, — отозвался мой собеседник. — Не надо, повторяю, считать, что в Штатах кто-то всерьез помышляет о войне с Советским Союзом…

— Однако именно Вашингтон отказался ратифицировать договор ОСВ-два, — сказал я.

— Что поделаешь… — Американец развел руками. — Вы же знаете, президент в свое время подписал этот договор, но сенат… У нас ведь демократия. Тем не менее, заверяю вас, подавляющее большинство американского народа — за достижение соглашения с вашей страной…

«Вот уж действительно парадоксы демократии, — подумал

я. — Подавляющее большинство народа — „за“, а сенат, вроде бы избранный народом, — „против“…»

— Политика — это сложная штука, — продолжал тем временем мой собеседник. — В ней тоже бывают свои спады и свои подъемы, периоды похолодания и потепления, — это неизбежно. Но я убежден: со временем все уладится, все станет на свои места. Так что не принимайте слишком близко к сердцу все то, что иной раз говорят наши политики…

— Не принимать близко к сердцу?! Нет уж, мы слишком хорошо знаем, что такое война. Здесь, в Ленинграде, всего лишь в тридцати минутах езды от дома, где мы сейчас сидим с вами, на Пискаревском кладбище лежат сотни тысяч ленинградцев, погибших в блокаду…

— Простите, что вы сказали? Я не понял, — озабоченно произнес американец.

— Я сказал: на Пискаревском мемориальном кладбище лежат сотни тысяч ленинградцев, погибших во время войны, в блокаду. Среди коренных жителей нашего города вы вряд ли найдете хоть одного человека, кто бы не потерял в дни войны кого-либо из своих родных. Так как же не принимать нам близко к сердцу все то, что сегодня говорится о войне и мире, все то, что происходит сегодня на земле!

Гость помолчал, чуть склонив голову.

— Да, да, я понимаю, — произнес он после небольшой паузы. — И все-таки поверьте мне: наш народ так же хочет мира, как и ваш.

— В это я верю, — сказал я.

Мой собеседник оживился, жизнерадостная улыбка вновь осветила его лицо.

— А знаете, как я попал в вашу страну? — неожиданно спросил он. — Знаете, почему надумал приехать сюда? Сейчас я расскажу, как это случилось. Однажды — это было в Швеции — на каком-то приеме я познакомился с русской женщиной. И вдруг я обнаружил, что я впервые в жизни вижу перед собой русского человека. Да, да, представьте себе: до тех пор я не видел ни одного русского! Хотя русских, как вы знаете, не так уж мало в Америке. Но тем не менее не видел. И тогда я подумал: «Как же так? Мы столько говорим о советско-американских отношениях, о русских, о России, а я, писатель, знаю русских лишь понаслышке, лишь чисто теоретически». Я решил, что этот пробел необходимо срочно исправить. И вот я здесь.

Он засмеялся, и я тоже улыбнулся в ответ.

— И я не жалею, что предпринял это путешествие. В конце концов, чем лучше мы будем знать друг друга, чем чаще будем

встречаться, говорить, спорить, тем больше будет доверия на земле.

— Да, это верно, — сказал я. — Это очень верно.

— А потому, если окажетесь в Штатах, приезжайте ко мне в гости, в Джорджию.

И он протянул мне свою визитную карточку.

— Я буду рад вас видеть.

— Спасибо, — улыбаясь, сказал я, — непременно.

Разумеется, я понимал: скорее всего мне вряд ли когда-либо доведется побывать в Джорджии, в гостях у этого человека. И все-таки, пусть чисто символическое это гостеприимство, это приглашение, — словно речь и правда шла о поездке к человеку, живущему по соседству, — имело глубокий смысл. Ведь очень хочется верить, что наступят на земле времена, когда все народы, все страны станут добрыми соседями. Во всяком случае, прощаясь с гостем из Джорджии, руки друг другу мы пожимали от души.

Некоторое время спустя после его отъезда в Союз писателей пришло письмо. Мой новый знакомый благодарил за гостеприимство и писал, что одним из самых значительных впечатлений для него стала наша откровенная беседа в Ленинграде, в Доме писателей. Мне бы хотелось думать, что слова эти не просто дань вежливости, что так оно и есть на самом деле. Хотелось бы так думать.

Три альбома

В каждом доме, у каждого из нас наверняка отыщутся вещи, которые уже отслужили свое и теперь за ненадобностью хранятся где-нибудь на дальней полке шкафа или в глубине ящика письменного стола. Они, эти вещи, уже не приносят практической пользы, но в то же время расстаться с ними жалко, почти невозможно, потому что любая из них обладает своей особой памятью. А если взять их в руки, внимательно приглядеться к ним, они вдруг заговаривают с тобой.

Так, например, в одном из ящиков письменного стола хранятся у меня старые хлебные карточки. С маленькими талончиками, которые некогда быстро и ловко отрезали ножницами продавщицы булочных, эти карточки напоминают о суровом и радостном послевоенном времени. Возле них лежат аккуратно завернутые мои первые офицерские погоны — золотые с маленькими серебряными звездочками. Хорошо помню тот день, когда их, эти погоны, торжественно вручил мне мой командир. Впрочем, сегодня речь пойдет не о погонах и не о хлебных карточках. Я хочу рассказать о трех альбомах, которые хранятся здесь же в моем старом письменном столе.

Как-то в один из предновогодних дней я остановился на Невском проспекте возле стеклянного почтового киоска. В киоске продавались марки, конверты и открытки, и я, рассматривая их, решал, что лучше выбрать для новогодних поздравлений своим друзьям.

Я не отношусь к числу заядлых коллекционеров и уж тем более не могу считать себя особым знатоком филателии, но каждый раз, когда я разглядываю разноцветное марочное богатство, во мне вдруг словно оживает маленький мальчишка из

далекого, довоенного времени.

Тогда, как раз под Новый, 1940 год мне подарили старинный иллюстрированный альбом для марок. Видно, этот альбом уже не раз менял своих хозяев, прежде чем добрался до нашего дома. Помню, меня он поразил своей роскошной, тисненной золотом обложкой, буквой «ять» и твердым знаком в окончании слов, то и дело попадавшимся на его страницах в названиях стран, и датой, которая стояла на титульном листе: «1901 годъ». Выходит, альбом этот был ровесником века.

Каким-то чудом сохранился альбом и во время Великой Отечественной войны, не исчез, не пошел на топливо в блокадном Ленинграде, и теперь я тщательно берегу его как память о детстве.

Переплет его изрядно потерся, потускнел и уже не выглядит таким сказочно роскошным, каким казался мне прежде, да и марок в нем осталось совсем немного: часть пропала во время блокады или пришла в негодность, часть я сам уже позже раздарил друзьям-коллекционерам. Но дело не в этом: мне дорог и интересен этот альбом сам по себе.

Я листаю его пожелтевшие плотные страницы, как листал их когда-то в детстве, и с этих страниц на меня смотрят отпечатки, изображения марок тех государств, которых нынче уже нет и в помине, и тех колоний, которые давно уже превратились в свободные страны, смотрят надменные лица королей, королев и прочих властителей, давно уже либо свергнутых, либо просто забытых…

«Испанская Вестъ-Индия», «Британское владение», «Нидерландская Индия», — читаю я заголовки на перелистываемых страницах. О многом могут рассказать страницы альбома. Выразительнее всякого учебника истории они рассказывают о том времени, когда империалистические державы алчно делили между собой колонии, когда едва ли не к каждому названию африканской или азиатской страны обязательно добавлялось: «британское владение», «бельгийское владение», «испанское владение».

А вот еще одна страница. «Португальские владения» значится на ней. Ангола, Гвинея, Мозамбик. Короны — символ владычества Португалии — и аккуратненькие идиллические хижины среди сочной зелени, резвящиеся зебры, жирафы и прочие экзотические животные изображены на марках. Хорошо помню, как мы, мальчишки, подолгу рассматривали эти заманчивые картинки.

Но уже тогда мы, ребята, знали, что марки эти не говорят правды о колониях, марки лгут. Африка всегда, с самого детства, волновала нас. Человеку было достаточно иметь черную кожу,

чтобы он вызвал у нас симпатию, чтобы мы считали его своим товарищем, другом, братом. Ибо с мальчишеских лет мы были за тех, кто угнетен, кто бесправен, кто борется за свободу.

Немало времени, упорной борьбы и жертв понадобилось для того, чтобы и Индия, и Ангола, и Мозамбик, и многие, многие другие страны стали не чьими-то заморскими владениями, униженными и порабощенными, а свободными, независимыми государствами. Я листаю страницы старинного альбома и, кажется, наяву слышу гул ветра Истории, гул ветра Свободы.

Да, о многом может рассказать старый альбом.

А рядом с ним столь же бережно хранится мной совсем невзрачная на вид тетрадка, сшитая суровой ниткой из газетных страниц.

Это тоже альбом, альбом для марок. На его страницах без труда даже можно разглядеть дату и название газеты: июль, 1944 год, «Ленинградская правда».

В то время еще не хватало бумаги, и я, 12-летний подросток, сшил альбом для марок из газетных страниц. Между наклеенными марками с изображением орденов Кутузова и Суворова, между марками, посвященными подвигу двадцати восьми гвардейцев-панфиловцев и Зои Космодемьянской, ясно читаются газетные строки: «…северо-западнее города Полоцк наши войска с боями продвигались вперед и заняли более 30 населенных пунктов…».

В те дни, когда я мастерил этот альбом, когда огорчался, что нет под руками более подходящей бумаги, я, конечно же, не думал, что именно эту газетную тетрадку, сшитую нитками, буду держать сегодня в руках с особым, волнующим чувством, что именно эта тетрадка станет сегодня пусть малым, но все же свидетельством истории, памятью войны и Победы…

В этом самодельном альбоме на самой последней его странице аккуратно наклеена красивая марка, на которой скрестились три флага — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Эта марка была выпущена в честь антифашистского боевого союза, разгромившего гитлеризм, того самого боевого союза, о котором кое-кто за океаном ныне всячески старается забыть.

Глядя на эту марку, я вспоминаю историю, которую недавно рассказали газеты.

Бывают в жизни каждого человека такие события, такие минуты, которые навсегда, сколько бы лет потом ни минуло, остаются самыми важными, самыми главными и словно бы наполняют особым смыслом и значением все прожитые годы. Таким событием для американца Джозефа Половски стало то, что

произошло 25 апреля 1945 года на берегу Эльбы.

В тот день Джозеф Половски находился в составе передового американского патруля и одним из первых увидел советских разведчиков, которые переправились через Эльбу.

Советские и американские солдаты бросились навстречу друг другу, они обнимались, крепко пожимали руки, что-то кричали. И радость их была понятна. Слишком многое означала эта встреча. Соединились наступавшие с востока советские войска и двигавшиеся с запада войска союзников. Близился конец войны. Всего две недели оставалось до полной капитуляции фашистской империи.

После войны Джозеф Половски вернулся к себе на родину, в Соединенные Штаты, работал шофером грузового такси, но никогда не забывал о главном дне своей жизни, о встрече на Эльбе.

Джозеф Половски мечтал о том, чтобы дружба и сотрудничество между двумя народами — советским и американским — крепли, чтобы никогда больше не повторялась война, чтобы на земле всегда царил мир. Все, что было в его силах, он делал ради этой цели.

«На Эльбе, — говорил он, — мы, американцы и русские, поклялись никогда не забывать друг о друге. Мы дали клятву посвятить нашу жизнь укреплению дружбы между нашими странами, чтобы не допустить впредь новой мировой войны».

Этой клятве Джозеф Половски оставался верен всю жизнь. И когда осенью 1983 года он узнал, что неизлечимо болен, что дни его сочтены, он написал завещание, в котором просил похоронить его на берегу Эльбы, там, где в 1945-м встретились советские и американские солдаты, сражавшиеся против фашизма. С этой же просьбой ветеран войны обратился в Белый дом и в военное ведомство Соединенных Штатов — Пентагон. Но Пентагон отказался оплатить похороны бывшего солдата. У Пентагона, щедро тратящего миллиарды и миллиарды на новые ракеты и ядерные заряды, не нашлось денег, чтобы выполнить последнюю просьбу ветерана. И это не случайно: Джозеф Половски давно уже вызывал раздражение американских властей своими призывами к миру и сотрудничеству с Советским Союзом.

Последнюю волю американского солдата исполнили его друзья и родственники. Его похоронили на берегу Эльбы, в земле, обильно политой кровью тех, кто сражался против фашизма. Сюда, чтобы отдать последние почести солдату, приехали не только его товарищи, ветераны войны из Соединенных Штатов, приехали и советские ветераны Великой Отечественной — те, кто в победном сорок пятом с боями пришел на Эльбу. И снова

звучали здесь слова клятвы быть верными делу мира, делу дружбы между двумя народами.

На каменном надгробии на могиле Джозефа Половски изображены две руки, соединившихся в крепком пожатии. Таково было желание старого солдата, который когда-то здесь, на берегу Эльбы, радостно жал пропахшие порохом руки советских воинов. Теперь это рукопожатие навечно запечатлено в камне. Оно как бы говорит всем тем, кто хотел бы забыть уроки прошлого: дружба народов, дружба простых людей Земли сильна и надежна, она не даст разразиться новому военному пожару.

Вот о чем побудила меня вспомнить старая марка в альбоме, сшитом из газетных страниц.

Там же, на одной из страничек военного альбома, я вижу три большие квадратные марки выпуска 1944 года. Я помню, как мы, мальчишки, охотились за этими марками, как ценили их. Они, эти марки, были посвящены десятилетию первой попытки прорваться в стратосферу. Эта попытка тогда, в 1934 году, окончилась трагически. Гигантский воздушный шар, поднявшийся в стратосферу, потерпел катастрофу. Федосеенко, Васенко, Усыскин — мы хорошо знали фамилии этих мужественных людей, смело пошедших на риск и отдавших свои жизни во имя постижения загадок околоземного пространства. Даже невероятно тяжкие годы войны не затмили память о первых героях-стратонавтах. И, всматриваясь сегодня в те старые марки, в лица, изображенные на фоне белого стратостата, рвущегося ввысь, невольно думаешь: как же далеко мы шагнули! Многомесячная работа на космической орбите, выходы в открытый космос, научные эксперименты, проводимые на космических орбитальных станциях, — все это стало не только выдающимися событиями, не только впечатляющими достижениями нашей науки, но и привычным делом, повседневной работой. И это, пожалуй, самое знаменательное.

Но если уж зашла речь о космосе и его покорителях, то самое время рассказать о третьем моем альбоме.

Этот альбом появился у меня сравнительно недавно. Нет, повторяю еще раз, я вовсе не претендую на звание филателиста-коллекционера. Но честное слово, очень трудно удержаться, чтобы не купить, чтобы не оставить себе на память марки с портретами наших мужественных космонавтов, с изображением стремительных космических кораблей или фантастических инопланетных пейзажей!

На одной из страниц этого, третьего, моего альбома взгляд мой всякий раз непременно задерживается на четырех ярких, словно бы светящихся, марках. «Аполлон — Союз», — написано

на них. Два космических корабля сближаются на фоне голубого земного шара.

Это произошло больше десяти лет назад. Советский космический корабль «Союз» и американский «Аполлон» встретились, состыковались на околоземной орбите. Свершилось первое в истории человечества космическое рукопожатие отважных американских астронавтов и мужественных советских исследователей космоса.

Такие события не забываются. В Вашингтоне, в прекрасном Музее авиации и космонавтики, я сам, своими глазами, видел точную копию советско-американской космической станции «Союз — Аполлон», сам, своими глазами, видел, с каким неподдельным интересом, с каким радостным оживлением, с каким любопытством рассматривали американцы — и взрослые, и ребятишки — эту станцию.

Кстати, музей, о котором я говорю, расположен совсем недалеко от Белого дома, и, наверно, некоторым американским политикам, тем, кто сегодня старательно вынашивает планы «звездных войн», планы превращения космоса в арену военного соперничества, в поле боя, следовало бы почаще заглядывать сюда. Ведь именно мирное сотрудничество, будь то изучение космоса, или совместная борьба с болезнями, или охрана природы, по-настоящему достойно человека. Именно такое сотрудничество и предлагает наша страна Соединенным Штатам. За такое сотрудничество выступают и истинные ученые.

И как не понять, как не поддержать, например, известного американского астронома, профессора Корнеллского университета Карла Сагана, который мечтает о совместной советско-американской космической экспедиции на Марс. Полет управляемого космического корабля на Марс технически возможен, утверждает американский астроном, хотя может показаться дорогостоящим. Однако в действительности такая экспедиция обошлась бы намного дешевле, чем программа «звездных войн».

Десятилетия назад, пишет Карл Саган, Марс манил к себе советского ученого Константина Циолковского и его американского коллегу Роберта Годдарда. Ракеты, которые они изобрели, предназначались не для уничтожения жизни на Земле, а для того, чтобы перенести нас на другие планеты и звезды. Обе наши страны, пишет ученый, могут действовать во имя общих интересов, как это было в годы второй мировой войны, когда мы сражались против общего врага, и как это было в июле 1975 года, когда в космосе произошла стыковка американского корабля «Аполлон» и советского корабля «Союз».

Что ж, справедливые слова!

Кстати, в моем альбоме рядом с советскими марками, выпущенными в честь космического рукопожатия советских и американских космонавтов, наклеена и американская марка, посвященная этому событию. История ее появления в альбоме тоже примечательна.

Ее мне подарил знакомый биолог. А он, в свою очередь, получил ее от своего американского коллеги. Американский ученый в своем письме рассказывал о своих новых работах, интересовался трудами советского ученого. И на конверт со своим письмом он, — наверно, не случайно! — наклеил марку с изображением космической станции «Аполлон — Союз»…

Я листаю страницы альбома, и марки словно бы говорят со мной, словно бы спешат рассказать каждая свою историю.

Таков мой третий альбом. И я думаю: может быть, спустя много лет кто-нибудь возьмет его в руки с таким же волнением, с каким сегодня беру я свою самодельную тетрадку, где между марками военных лет отчетливо проступает газетный шрифт сводок Советского Информбюро…

Но это когда-нибудь потом, спустя годы. А сейчас я выбираю в почтовом киоске марки покрасивее, поярче, чтобы наклеить их на новогодние конверты с праздничными поздравлениями. Что пожелаю я своим друзьям? Ну конечно, того же, чего желают нынче все люди нашей планеты: счастья и мира.

Наше слово гордое «товарищ»

месте с теми альбомами, о которых я только что рассказал, хранится у меня и небольшой потрепанный еще довоенного издания песенник.

«Дан приказ ему на запад…», «Песня о Чапаеве», «Орленок, орленок, взлети выше солнца…» — все это были песни моего детства, которые я любил, как никакие другие. Эти песни, песни революции, я всегда считал самыми главными. Но среди этих главных песен была одна самая-самая главная, которой и открывался старый песенник. «Интернационал».

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов…

С самого раннего детства для нас, тогдашних мальчишек, такие понятия, как «революция», «Интернационал», «Рот-фронт», были не только звучными словами — они были сутью и смыслом нашей жизни. Мечта о всеобщем человеческом братстве владела нами. Эту мечту я пронес через всю жизнь, она и сейчас со мной. И сохранить ее мне помогали многие люди, встречавшиеся на моем пути.

Не могу забыть встречу с африканцем, которая произошла в Москве лет пятнадцать тому назад. В то время страна, откуда приехал к нам этот человек, еще находилась во власти колонизаторов.

У африканца были очень худые с острыми локтями руки и серьезные, усталые глаза. Он отвечал на наши вопросы и сам расспрашивал нас о жизни в Советском Союзе, но выражение усталой озабоченности не сходило с его лица. И тогда одна

девушка осторожно дотронулась до его коричневой руки и спросила: «Скажите: вот вы вернетесь к себе на родину, там могут узнать, что вы были в Советском Союзе. Вас могут схватить. Вы не боитесь?»

Африканец внимательно выслушал переводчика. И вдруг мы увидели, как изменилось, как словно бы вспыхнуло его лицо. Он заговорил быстро и горячо. И еще раньше, чем переводчик успел перевести то, что говорил наш гость, мы услышали, как прозвучало слово «революция».

«Нет, я не боюсь, — сказал африканец. — Это борьба. И в борьбу не вступает тот, кто боится. Мы — революционеры. И мы будем бороться до конца».

Больше я не видел этого человека и не знаю, как сложилась его судьба, даже не знаю его имени. Но я навсегда запомнил, как осветилось его лицо, когда произносил он эти слова. Уже позже, встречаясь с другими людьми, из других стран, где тоже полыхала борьба за свободу, я не раз замечал, как ложился на их лица тот же свет, когда звучали слова «борьба», «революция», «свобода».

Вспоминаю и совсем иную встречу — вспоминаю 13-летнего кубинского мальчишку. Его звали Архелио. Первый раз я увидел его в Ленинградском Морском порту. В тот день мы, ленинградцы, торжественно встречали большую кубинскую делегацию.

По трапу теплохода сходили широкоплечие, загорелые бородачи в военных гимнастерках. Их обнимали, им дарили цветы. Русская речь мешалась с испанской, гремела музыка.

И вдруг мы увидели, как по трапу спускается невысокий мальчишка. На вид ему было лет двенадцать, не больше. Он крепко держался за поручни трапа, и мы не сразу заметили, что он сильно хромает. Идти ему было трудно. Но когда кто-то захотел ему помочь, мальчишка сердито помотал головой: нет, мол, не надо, я сам.

Мы с интересом смотрели на него. Почему, за какие такие заслуги оказался этот парнишка среди революционных солдат? Кто он? Отчего удостоился такой чести?

Тогда, в порту, эти вопросы так и остались для меня без ответа. Но прошло несколько дней, и судьба вновь свела меня с Архелио. Тут-то я и узнал его историю.

Оказывается, у себя на родине Архелио был бойцом революционного отряда. Он обучал грамоте вчерашних батраков и крестьян. Это была опасная работа. Бандиты-контрреволюционеры угрожали бойцам отряда расправой и смертью. Но отряд не боялся угроз. По горным тропам от селения

к селению продвигались бойцы. И вместе со взрослыми шел Архелио. Он любил петь. Он всегда был весел. А между тем ему приходилось куда тяжелее, чем остальным: он сильно хромал. Эта хромота осталась после перенесенной им еще в раннем детстве тяжелой болезни. Никто не слышал от Архелио ни слова жалобы. Его стойкость поражала взрослых. В неполных 13 лет он был назначен комиссаром отряда. Сам Фидель Кастро сфотографировался вместе с ним. И когда большая делегация молодых кубинцев, бойцов революции, отправилась в Советский Союз, Архелио тоже был включен в нее.

Однако на Архелио надвигалась беда. Хромота усиливалась. Ходить ему становилось все труднее. Помочь могла только операция. Очень сложная операция. И сделать ее брались советские врачи.

Сначала Архелио упрямился, говорил, что не может остаться, уверял, что сейчас он нужнее у себя на родине. Однако товарищи убедили его, уговорили согласиться на операцию.

Так Архелио надолго задержался в Ленинграде. В те дни, когда он лежал в больнице, я и познакомился с ним поближе. Я часто навещал его. Я уже знал несколько фраз по-испански. Я входил в палату и говорил: «Буэнос диас!» И Архелио отвечал: «Добрый дьень!»

Он знал русский лучше, чем я испанский. Чаще всего он просил меня рассказать о нашей армии, о танкистах, ракетчиках и десантниках. Он очень любил слушать рассказы о советских солдатах, об их смелости, мужестве и отваге.

«Архелио — сольдад», — говорил он с гордостью.

А потом — иногда сам, иногда с помощью переводчика — рассказывал мне про своего деда. Дед Архелио был революционером. Он сражался за свободу во время гражданской войны в Испании. Уже поселившись на Кубе, он часто пел маленькому Архелио старые революционные песни — песни тех, кто сражался в Испании против фашистов:

Вдоль реки бурливой Эбро
Полк идет республиканский
Синей ночью, теплой ночью,
Страшной ночью, грозной ночью…

А однажды на тумбочке у Архелио я увидел книгу в красном переплете. Я взял ее в руки, взглянул на обложку. Это была работа Владимира Ильича Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» на испанском языке.

«Ты читаешь ее? — в изумлении спросил я. — Тебе же еще

рано! Тебе же трудно! Ты не поймешь!»

Архелио покраснел, сердито отобрал у меня книгу и спрятал под подушку. Он обиделся.

Впрочем, любил Архелио и побаловаться, как самый настоящий мальчишка. Однажды, например, он забрался в шкаф и очень веселился, когда санитарки долго не могли отыскать его.

А между тем приближался день операции. Архелио стал молчаливее, заметно нервничал. Он знал, что операция будет нелегкой.

Накануне операции я просидел у него особенно долго. Пробовал рассказать ему какую-то смешную историю, и Архелио даже смеялся, но взгляд у него был грустный. Я видел, что думает он о другом.

Пора было уходить. Я протянул Архелио руку. И вдруг он схватил мою руку, прижался к ней щекой и сказал шепотом: «Борис! — Он всегда так забавно произносил мое имя — с ударением на первом слоге. — Борис! Я завтра не плакать!»

Он повторил эти слова с отчаянием и настойчивостью.

«Борис! — шептал он. — Сольдады не плачут. Архелио — сольдад. Архелио завтра не плачет. Борис!» — «Я верю, верю», — почему-то тоже шепотом сказал я.

На другой день утром меня не пустили в больницу. Я позвонил по телефону — мне сказали: операция началась.

Прошел час, я позвонил снова — мне сказали: операция продолжается. Прошло полтора часа — Архелио все еще был в операционной.

Как протекала операция и что было потом, я узнал позже со слов сестер.

Операция действительно была нелегкой. Когда Архелио на операционной каталке привезли обратно в палату, его лицо было совершенно белым. А возле носа отчетливо выступили маленькие черные веснушки.

Пожилые санитарки осторожно переложили Архелио на койку. Он открыл глаза, медленно приходя в себя после наркоза.

Санитарки молча смотрели на него. Они-то знали, что сейчас наступает самый тяжелый момент. Даже взрослые люди стонут в эти минуты от запоздалой, проснувшейся боли.

Архелио чуть шевельнулся и закусил губу.

Санитарки отвернулись: они чувствовали, что еще немного — и он заплачет. Пусть думает, будто они не видели его слез.

И вдруг в палате раздался голос Архелио. Совсем слабый, хрипловатый голос.

Архелио пел. Он пел едва слышно старую испанскую песню. Песню о солдатах революции, которые не сдаются. Его глаза были

полузакрыты, бледное лицо покрылось испариной, но он все-таки пел.

Глядя на него, плакали санитарки.

Через день мне разрешили навестить Архелио. Архелио был еще бледен, темные круги лежали у него под глазами. Он увидел меня и слабо улыбнулся.

«Борис! — тихо сказал он. — Архелио не плакал».

Я молча пожал ему руку. Я думал, что он и правда маленький солдат революции, я думал, что все верно, что так и должно быть: у героического народа и дети — герои.

Но уж если речь зашла о кубинцах и о песнях, то я не могу не рассказать еще одну маленькую историю, которая произошла на Кубе.

Мы, группа ленинградских туристов, осматривали одну из гаванских фабрик, знакомились с ее работой. А потом у нас состоялась беседа с ее директором. Это был высокий, широкоплечий, белозубый, могучий негр. Казалось, ему и одному-то тесно в небольшом кабинете, а тут еще мы набились в комнату, расселись — кто на стульях, кто на подоконнике. Всем хотелось послушать, как идут дела на фабрике.

Но беседа протекала очень медленно. Уж очень сложным, громоздким путем осуществлялся перевод. Сначала наша переводчица переводила наши вопросы с русского на английский, так как она знала русский и английский, но не знала испанского. Потом наш кубинский гид переводил их с английского на испанский, так как он знал испанский и английский, но не знал русского. Директор фабрики отвечал и терпеливо ждал, пока его ответы гид переведет с испанского на английский, а наша переводчица — с английского на русский. Долгая получалась процедура, но что делать!

В кабинете было жарко, даже кондиционер, гнавший холодный воздух, казалось, почти не помогал. От жары, от медлительно, с долгими паузами текущего разговора все быстро утомились, но старались не показывать вида.

Только хозяин кабинета вроде бы не чувствовал ни жары, ни усталости. Беседа уже приближалась к концу, когда он вдруг улыбнулся своей широкой, ослепительной улыбкой и неожиданно сказал на чистом русском языке: «Споемте, товарищи!»

Мы еще не успели прийти в себя от изумления, а он уже запел первым:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек…

И сразу исчезла скованность, словно не стало ни жары, ни усталости: мы подхватили песню. А кубинец поднялся во весь свой могучий рост и стоя дирижировал сильными шоколадного цвета руками:

Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов!

И оба наших переводчика — и тот, который знал испанский и английский, но не знал русского, и та, которая знала русский и английский, но не знала испанского, — пели вместе с нами.

Объяснилось все очень просто: оказывается, директор фабрики побывал однажды с делегацией в Советском Союзе, в Ленинграде, и, вернувшись, привез с собой на Кубу несколько советских песен и несколько русских фраз, среди которых больше всего ему по душе была эта: «Споемте, товарищи!»

Песни нашего детства, нашей юности… В них, в этих песнях, — история нашей страны, ее борьбы и побед. И сегодня, как когда-то прежде, возникает в моем сердце грозно-торжественный напев:

Товарищи в тюрьмах,
В застенках холодных,
Вы с нами, вы с нами,
Хоть нет вас в колоннах!

И сразу воскрешает память давний солнечный майский день. Москва. Улица Горького. Я шел от проспекта Маркса к Пушкинской площади, когда вдруг увидел их — двух черноволосых, скуластых девушек в пончо. Столько чисто детского восторга и доверия, столько радостной открытости было на лицах этих девушек, что они невольно притягивали к себе, вызывали ответное желание улыбнуться.

Был яркий весенний день, и свежий ветер шевелил их смолянисто-черные волосы. Но в глазах девушек угадывалась и растерянность: видно, они заблудились в огромном городе и теперь стояли здесь, на улице Горького, обтекаемые толпой, то ли не решаясь, то ли не умея обратиться к прохожим. Впрочем, несколько человек уже приостановились возле них и пытались расспросить, помочь, но девушки только разводили руками и смеялись.

Я подошел поближе. Девушки говорили по-испански. Они что-то старались объяснить или спросить, но люди, окружавшие

их, лишь улыбались в ответ: знатоков испанского среди нас не оказалось. И тогда та, что выглядела постарше, показывая на себя, сказала: «Чили. Коммунист. Москва».

Чили. Это слово еще не мелькало тогда на страницах всех газет мира, еще не отдавалось болью в наших сердцах. И победа фронта Народного единства, и фашистский путч, и героическая гибель Сальвадора Альенде, и концлагеря, и пытки, и борьба в глубоком подполье — все это было еще впереди. И такой далекой, такой еще незнакомой казалась эта страна.

«Чили. Коммунист. Москва», — повторила вторая девушка, и столько жизнерадостности, столько темперамента, энергии было вложено в эти три слова, что, казалось, владей мы испанским — и все равно вряд ли сумели бы узнать и понять больше, чем выразили сейчас эти слова.

С трудом сообща мы выяснили, что девушки и верно потерялись и теперь не знают, как добраться до своего отеля, и тогда сразу обнаружился кто-то, какая-то женщина-москвичка, которой было по пути с ними и которая вызвалась проводить их до гостиницы.

И они ушли, эти две девушки в пончо, унося на своих лицах все то же выражение детского праздничного ликования, выражение счастливого доверия, какое бывает, лишь когда встречаешься с самыми близкими, самыми дорогими людьми…

Они ушли, и я больше никогда уже не встречал их, они промелькнули и исчезли, но вот странное дело: другие, казалось бы, куда более существенные встречи давно уже за эти годы стерлись в моей памяти, а эта — такая короткая, такая случайная — запала мне в душу… И потом уже, значительно позже, когда их родина стала полем битвы между справедливостью и вероломством, между светом и мраком, не раз я вновь и вновь видел перед собой лица этих двух чилийских коммунисток.

Где они, что с ними, как сложилась их судьба? Мне хочется верить, что они живы. Томятся ли они сейчас за колючей проволокой фашистского концлагеря, или сумели уйти в подполье, или продолжают борьбу в эмиграции?

Но где бы они ни были, я желаю им успеха в борьбе, я желаю им победы. А победа придет, — в этом можно не сомневаться. Ибо время не поворачивается вспять.

Победа придет, — в это верят люди труда в тех странах, где капитал еще диктует свои законы. Там, в этих странах, ни на день не затихает борьба рабочих за свои права, за социальную справедливость. И конечно, одно дело, когда читаешь об этой борьбе в газетах, слышишь в радиопередачах, и совсем другое — когда видишь эту борьбу, что называется, наяву, своими глазами.

Так случилось, что из-за нелетной погоды мы, группа ленинградских писателей, совершавших поездку по Японии, не сумели попасть в Хиросиму и оказались в Иокогаме. Утром мы узнали, что Иокогама охвачена забастовкой. Повсюду мелькали красные повязки бастующих, плакаты, испещренные иероглифами. В это же утро к нам в отель должен был заехать заместитель мэра города. Однако он запаздывал. Впрочем, мы уже особенно и не надеялись увидеть его: наверняка забастовка нарушила его планы. И все-таки он появился в холле отеля — живой, энергичный, общительный человек. После обычных приветствий он сказал: «Извините, что я немного задержался. Сегодня с самого раннего утра на ногах. Объезжал бастующих, подбадривал». — «То есть как?» — не сдержал своего удивления кто-то из нас.

И правда, казалось, было чему удивляться: представитель городских властей подбадривает забастовщиков! Но тут же все разъяснилось: в ряде крупнейших промышленных городов Японии в тот год мэрами и их советниками оказались избраны члены оппозиционных левых партий. Мы узнали, что наш новый знакомый — в недавнем прошлом рабочий, участник борьбы трудящихся за свои права. Расставались мы с ним, совсем как старые друзья. И еще долго вспоминали этого человека, говорили о нем.

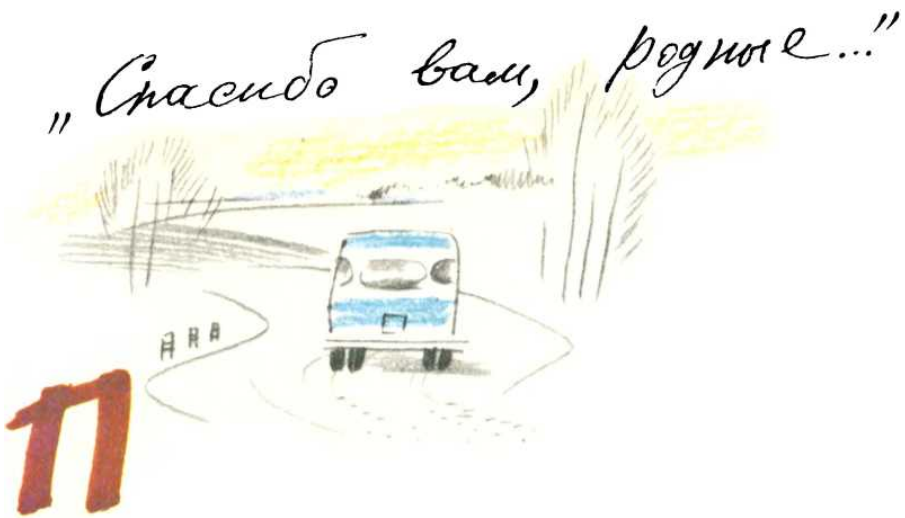
…Разные встречи, разные лица, разные голоса… Но за ними словно бы встает, словно бы вырисовывается облик нашего Времени.

С детства, с самого раннего детства я считал песни борьбы, песни революции самыми главными песнями. И мне бы очень хотелось, чтобы для тех, кто вступает в жизнь сегодня, эти песни всегда оставались исполненными высокого смысла.

«Спасибо вам, родные…»

…Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны —
Хотят ли русские войны…

Евг. Евтушенко



Помню, на одной из антивоенных конференций выступал представитель Японии. Волнение и тревога звучали в его голосе. Он обращался к залу так, как обращается человек, который ищет ответа на самые сокровенные, на самые мучительные для него вопросы. Он говорил:

«Мы — те, кто пережил войну, кто видел ее своими глазами, кто слышал вой снарядов и стоял у свежих могил, знаем, что это такое. Знаем, какую бездну страданий, горя и ужаса несет людям война. И потому нет для нас дела священнее, чем борьба за мир. Но вслед за нами идут новые поколения — наши дети и внуки. Они не видели бомбовых воронок и не знают горького запаха пепелищ. Для них война — это уже история. Поймут ли они нас? Продолжат ли наше дело, нашу борьбу? Вот что меня тревожит…»

Я слушал эту взволнованную речь, а сам мысленно был уже не здесь, не в этом зале. Я вспоминал свою поездку в Бокситогорск — город, лежащий неподалеку от Ленинграда. Я думал о бокситогорских ребятах. Вот с кем стоило бы встретиться этому пожилому японцу. Там, в Бокситогорске, я думаю, он нашел бы ответ на многие свои вопросы… Во всяком случае, в моей

душе дни, проведенные в Бокситогорске, оставили глубокий и прочный след.

Автобус бежит по заснеженному шоссе. Едут в автобусе первоклассники. Первый раз в своей коротенькой еще жизни едут в Музей боевой славы, что стоит на пригорке возле деревни Астрача, в двадцати пяти километрах от Бокситогорска, едут к братской могиле, где лежат в земле двести двадцать два воина, отдавших жизнь в грозном сорок первом в боях за Тихвин. Жмутся ребятишки к окнам, смотрят на деревья, глубоко утонувшие в снегу, слушают рассказ учительницы — Варвары Алексеевны Горушской:

«В тысяча девятьсот сорок первом году в этих местах шли тяжелые бои. Здесь совершил свой подвиг Ильдар Маннанов. Вон там примерно стояла его пушка. Несколько атак фашистов отбили наши солдаты. Но и сами понесли потери. Были убиты товарищи Маннанова. Раненный, он остался один у орудия, вел бой с фашистскими танками. И когда наступила ночь, отважный боец не покинул позицию, а, превозмогая боль, подтаскивал снаряды к своей пушке — готовился к новому бою. Утром фашисты опять пошли в атаку и опять орудие Маннанова встретило их огнем. Когда подоспело подкрепление, наши бойцы нашли Маннанова, истекающего кровью… Уже в госпитале 17 декабря 1941 года Ильдар узнал, что ему присвоено звание Героя Советского Союза. Теперь Ильдар Маннанович Маннанов живет в городе Набережные Челны[1]. Он приезжал в наш город, приходил сюда, на место боев…»

Замолкает Варвара Алексеевна, сквозь толстые стекла очков пытливо вглядывается в ребячьи лица.

«В Музее боевой славы вы, ребята, увидите фотографии, документы — часть из них собрана и передана музею вашими старшими товарищами, красными следопытами. Когда вы подрастете, многие из вас тоже, наверное, станут красными следопытами…»

Да, наверняка станут. И очень может быть, на имя этих мальчишек и девчонок со временем будут приходить такие же волнующие письма, какие получают юные следопыты бокситогорской средней школы № 1.

Здравствуй, дорогая Аллочка!

Ты даже не представляешь, какое большое дело вы делаете для всех, кто сейчас живет жизнью тех, кого уже нет. Спасибо вам большое! В моей душе вы разбудили тревожно-радостное чувство своим письмом, в котором написали о моем отце, Кутуршине

Николае Христофоровиче, что он умер в госпитале и похоронен на братском кладбище в вашем городе Бокситогорске. А ведь я об этом даже не знала. Я рада, что есть вы, что делаете вы большое дело и что у меня появилась возможность поклониться могиле моего отца, который отдал жизнь ради моего счастья…

Дорогие ребята, дорогая Аллочка, большое спасибо вам, мы обязательно приедем к вам, я хочу поклониться своему отцу, ведь с его уходом на войну для меня слово «папа» потеряло смысл, а сейчас я как будто снова его нашла. Очень прошу, ответьте, пожалуйста, побыстрее, как можно доехать до вашего города…

КУЧЕНОВА ИННА НИКОЛАЕВНА, Коми АССР.

Здравствуй, дорогой незнакомый Сережа!

…Если бы я не была больная, я как птичка прилетела посмотреть на своего брата могилу. Но я не смогу приехать, а переписываться я еще могу…

ШВЕЦОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, город Новокузнецк.

Дорогие ребята, юные следопыты!

Мне было три года, когда в 1941 году мой отец Шамса Гитинов ушел защищать Родину. Об этом мне рассказывала мать. Кончилась война, но отец не вернулся домой. Мы не знали, что с ним, почему от него нет известий. И вот теперь комсомолка из вашей школы Нина Быстрова помогла нам узнать эту тайну…

Я работник МВД. В тот февральский день я дежурил в отделении милиции. Зашла к нам почтальон и подала мне письмо. Почерк и обратный адрес незнакомы. Я вскрыл его тут же. Во мне было какое-то трепетное волнение. Когда же прочитал письмо, то почувствовал, будто отец живой и находится со мной рядом…

Нина! За вашу доброту и внимательность к нам мы будем всегда перед вами в долгу. Я обязательно приеду в Бокситогорск, чтобы побывать на могиле отца…

АСЛАНГИРЕЙ ШАМСУЕВ, Дагестан.

Вот такие письма получали Алла Червякова и Люба Солодова, Сережа Марков и Витя Бойцов, Лена Кочиева и Наташа Осипова и многие другие красные следопыты бокситогорской школы. Я ловлю себя на том, что мне хочется цитировать и цитировать эти письма. Сколько подлинного человеческого чувства в каждом из них! Какие судьбы встают за ними! Можно ли без глубокого — до слез — волнения читать такие строки:

Милые, дорогие дети!

Пишет вам старшая дочь Николаюка Николая Филипповича.

Мне переслали из Москвы ваше письмо. Мы знали, что наш отец лежал в Бокситогорске в госпитале, откуда получили его последнее письмо, что дела его идут на поправку, скоро его отправят долечиваться в глубокий тыл. А потом писем больше не было, и мы всегда думали, что он погиб в дороге при бомбежке, а вот оказывается, у него ничто не шло «на поправку». (Да, видно, не хотел солдат огорчать близких, оттого и писал так, а может, и сам надеялся, верил!)…Я была в семье самая старшая, и только я помню отца, мне было десять лет, брату — пять, а сестренка только через месяц после ухода отца на фронт родилась. Мы никак не хотели верить, что отца уже нет, и ждали его всю войну. А когда получили его последнее письмо, стали прятать булочки, которые давали мне в школе на завтрак, мы хотели их сохранить для отца. И ждали его еще долго после войны. А наша мать ждала его до самой своей смерти. Она умерла в 1971 году. Ваше письмо я переслала своему брату, а потом мы приедем вместе, навестим могилку отца. Спасибо вам, родные, за заботу.

ЛОГИНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА, город Луга.

Разве это письмо само по себе не дает глубокий нравственный урок — урок любви и верности! Да, благородное дело делают красные следопыты, разыскивая родственников погибших солдат. Но есть в этой работе, на мой взгляд, и другая, не менее важная сторона: исподволь, незаметно эта работа, эти письма, эти ниточки, протянувшиеся к прежде незнакомым людям, их боль и радость — все это воспитывает самих ребят, формирует их характеры, учит доброте, отзывчивости, человечности.

Едва ли не каждое письмо заканчивается одними и теми же взволнованно-сбивчивыми словами: «Напишите, как проехать в ваш город…», «Мы приедем…», «Мы обязательно приедем…». И приезжают. Приезжают в город, который недавно если и знали, то лишь понаслышке, и который теперь стал родным, потому что здесь лежит в братской могиле близкий человек. Как-то примет их этот город, как встретит?..

И как отрадно увидеть, что тебя ждут. Так было, когда приехали в Бокситогорск вдова и дочери солдата Великой Отечественной Ивана Ивановича Герасимова, лежащего здесь в братской могиле. Уже на вокзальном перроне их встретила Люба Солодова вместе со своим отцом Владимиром Дмитриевичем. Словно давних знакомых, словно своих близких, родители Любы пригласили родных погибшего солдата к себе домой. Так было и когда из Саранска и Жигулевска приехали мать и сестра Федора Васильевича Тришкина. Еще в сорок первом мать Федора

Васильевича получила похоронную и письмо, где было сказано, что ее сын умер от ран и похоронен «в сосновом бору» под Ленинградом. Но было неясно, что за сосновый бор имелся в виду: то ли просто сосновый лес, то ли название поселка. Так что где именно похоронен солдат — это так и осталось неизвестным, пока не отыскало мать Федора Васильевича письмо Любы Солодовой. И снова, как родных, принимали семью Тришкиных в доме у Любы. Да и как родителям Любы было не понять этих людей — ведь и семью Солодовых не обошла война: дедушка Любы, Дмитрий Афанасьевич Базгарев, и ее дядя, Петр Дмитриевич, не вернулись с войны.

Родители… Это ведь тоже совсем немаловажно — как относятся родители к делам и заботам своих детей: принимают ли в них участие всерьез, по-настоящему, или отмахиваются от них, от этих дел, как от чего-то незначительного, не заслуживающего внимания…

В Бокситогорске сложилась традиция: родители следопытов непременно приглашают гостей школы, гостей ребят и в свой дом. Хорошая, славная традиция! Отзывчивость рождает отзывчивость, доброта вызывает ответную доброту. И не случайно Мария Семеновна Пелевина, приезжавшая из Горьковской области на могилу своего отца, написала впоследствии: «…мне кажется, что остались у вас самые дорогие мне люди и люди самые, самые близкие моему сердцу, пусть мой отец живет среди вас, и мое сердце также с вами, вы будете помниться мне до конца моей жизни…».

Из разных республик, из разных городов нашей страны едут в Бокситогорск родные павших солдат: из Грузии — Шота Ерастович Цханакия (спасибо Вере Ивановой, это она помогла Шоте Ерастовичу найти могилу его брата Шалвы Цханакия); из Кабардино-Балкарии — семья Кардановых (теперь о них напоминает красным следопытам фотография пионера из Нальчика Эдика Карданова с надписью: «Я хочу быть похожим на своего дедушку — политрука, погибшего в 1941 году»); из Новгорода — братья Колесниковы (потом, когда юные следопыты отправятся в Новгород, именно братья Колесниковы тепло и заботливо примут их); из Башкирии — вдова и дочь Сагдата Назарова… Велик этот перечень. И когда на уроке истории СССР учитель рассказывает о том, что во время Великой Отечественной войны все народы нашей страны плечом к плечу встали на защиту Родины, это для ребят теперь не просто слова учителя, не просто строки из учебника — все это они поняли, почувствовали, увидели сами, это для них истина, подтвержденная и доказанная кровью и жизнью тех, кто лежит на братском кладбище в их

городе…

Едут сюда люди, кто, казалось, давно уже потерял надежду что-либо узнать о своих близких, погибших во время войны. «Лет двадцать назад ездил в ваш город брат моего отца, — пишет сын Николая Филипповича Николаюка, — но следов моего отца ему найти не удалось…» А вот ребята нашли. Сумели. Как и многих, многих других. Это было не просто. Месяцы, а то и годы розысков. Сотни отправленных писем.

В годы войны в Бокситогорске было немало госпиталей — полторы тысячи солдат, умерших от ран, остались здесь, на братском кладбище. Уточнить, а то и определить их фамилии, найти их родственников — такую задачу поставили перед собой следопыты школы. Эту работу возглавил два десятилетия тому назад учитель-энтузиаст Михаил Алексеевич Калинин. Именно о нем сегодня нужно в первую очередь сказать доброе слово. После смерти Михаила Алексеевича благородное дело продолжила его жена Варвара Алексеевна Горушская.

Каждый год приезжали красные следопыты вместе с Варварой Алексеевной в архив Военно-медицинского музея Ленинграда. Там уже хорошо знали бокситогорских следопытов, старались помочь им. Установить, какие госпитали были во время войны в Бокситогорске, отыскать документы, найти списки умерших от ран, определить места захоронения, разыскать довоенные адреса погибших — это только начало работы, первая ее часть. А потом по этим адресам отправлялись письма. Часто, даже слишком часто письма, к огорчению ребят, возвращались обратно нераспечатанными: как-никак не год, не два — целые десятилетия прошли с той поры, изменились названия улиц, исчезли старые дома, давно переехали в другие места люди. И снова шли письма — в военкоматы, в редакции местных газет… Зато сколько волнения, сколько переживаний было, когда вдруг приходил долгожданный отклик!

Ни много ни мало, около семисот родственников павших воинов разыскали красные следопыты. И в том, что меньше стало безвестных солдат, что обрели они имена, что имена эти теперь выбиты на мемориальных плитах братского кладбища в Бокситогорске, тоже есть — и немалая! — заслуга школьников.

Но этим не исчерпывается работа бокситогорских следопытов.

Зайдите в шестой «а» класс, и вы услышите, с каким неподдельным восторгом рассказывают ребята о своем новом друге Анне Александровне Джороговой. Это она встречала ребят,

когда приезжали они в Ленинград, это она водила их по местам боевой славы и доставала им билеты в ТЮЗ. А вечером пригласила к себе в гости, и ребята — все двадцать пять человек! — явились в ее квартиру, где праздничной белой скатертью уже был накрыт стол, где их ждали… Почему-то эта праздничная, ослепительно белая скатерть в их честь особенно поразила ребячье воображение…

Кто же такая Анна Александровна Джорогова? Это выпускница бокситогорской школы, она окончила ее в 1938 году и поступила в Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена, а в 1941 году после окончания краткосрочных курсов ушла в медсестры, работала в госпиталях, на Дороге жизни, войну закончила в Берлине. Удивительно ли, что так близко к сердцу восприняла она дела и заботы бокситогорских следопытов!

Сколько интересного услышали ребята в тот вечер от Анны Александровны! И может быть — самое главное! — увезли в своих душах частицу ее энергии, ее доброты, ее мужества…

Розыск выпускников родной школы — тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, нынешние шестиклассники начали еще два года назад. Начали по совету своей учительницы Лидии Александровны Васильевой. Теперь пионерский отряд шестого «а» класса носит имя Бориса Боголюбова. Борис Боголюбов был до войны секретарем школьного комитета комсомола, учился затем в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, с ополчением ушел на фронт и пал смертью героя в тяжелых боях под Ленинградом. Едва ли не каждую черточку характера Бориса знают теперь ребята, рассказывают о нем, как о живом, близком человеке, своем старшем друге. Две реликвии бережно хранятся в отрядном музее — аттестат Бориса, в котором нет иных оценок, кроме «отлично», и орден Ленина, которым была награждена его мать Надежда Ивановна: она много лет проработала учительницей в той самой школе, которую окончил ее сын. До последних дней ее жизни самыми частыми ее гостями, самыми заботливыми помощниками были пионеры. Лариса Ходыкина, та появлялась у нее каждый день, бегала и в аптеку, и в магазин за продуктами, ухаживала за старой женщиной.

Со стены класса смотрят на ребят совсем юные лица товарищей Бориса Боголюбова — тех, кто не вернулся с войны, кто отдал жизнь за Родину: Василий Малышев, Маргарита Смирнова, Леня Поликарпов, Володя Ефимов и еще многие, многие другие…

Ну а те, кому довелось вернуться, собрались однажды в День

Победы в своей родной школе. Торжественно — цветами, пионерским салютом — встречали их ребята. А в коридорах школы ждал бывших выпускников еще один сюрприз: каждый класс посвятил тем, кто из-за школьной парты уходил на фронт, свою стенгазету. Я видел эти любовно выпущенные стенгазеты. Собранные вместе, они производили очень сильное впечатление — словно повесть о суровом и великом времени, повесть о замечательном поколении. Вот стенгазета, посвященная семье Кузнецовых. Три брата было в этой семье: старший — Сергей и младшие — близнецы Андрей и Дмитрий. Все трое не вернулись с войны, отдали жизнь за Родину. Вот стенгазета, посвященная семье Мироновых: четверо братьев и сестра Ольга ушли на фронт, два брата пали смертью храбрых… Вот рассказ о школьном поэте Анатолии Ястребове — пожелтевшие страницы довоенного рукописного журнала сохранили, донесли до нас его стихи. Анатолий погиб при бомбежке.

Да, есть с кого нынешним пионерам брать пример, есть!

И когда уже поседевшие школьники довоенных лет, не стыдясь слез, обнимали друг друга, вглядывались в лица старых своих учителей, когда вспоминали своих павших товарищей, когда, наконец, бывший летчик Николай Громов запел любимую песню своих довоенных друзей мальчишек: «В далекий край товарищ улетает…», ребята, притихшие и взволнованные, не сводили глаз со взрослых.

Каждый год 17 декабря в школе отмечают День Героя. В этот день в 1941 году было присвоено звание Героя Советского Союза отважным воинам, отличившимся в боях за Тихвин. Надолго остался в памяти ребят День Героя, посвященный работникам госпиталей. Следопыты разыскали и пригласили на торжественный праздник тех, кто в годы войны выхаживал раненых: врачей, медсестер, санитарок. Каждый класс готовил им памятные подарки. Ко Дню Героя писали ребята сочинения. Есть среди них и сочинения, посвященные Герою Советского Союза танкисту М. Е. Пятикопу, чье имя носит школа, и другим славным воинам, есть сочинения и о своих родных, близких людях.

«Мою бабушку зовут Чижова Ирина Александровна. В годы Великой Отечественной войны бабушка работала в госпитале кочегаром. Госпиталь находился в нашей школе. В госпитале было очень много раненых, и, когда их привозили с фронта, бабушка помогала медсестрам выносить их из машин. Каждому раненому надо было принести воды, кроме того, ей надо было и отапливать госпиталь. Бабушка очень уставала, но делала все, что ее просили. Когда кончилась война, бабушку наградили медалью „За оборону Ленинграда“».

Так написала о своей бабушке Ира Сипина из четвертого «б». Что ж, Ира по праву гордится своей бабушкой, как по праву гордятся своими дедушками и бабушками, своими родителями многие ребята, написавшие о них в сочинениях. И когда Оля Задорская в своем сочинении восклицает: «Бывает же так! Живет человек рядом с тобой, ты его каждый день видишь, а ничего о нем не знаешь!» — и дальше рассказывает о фронтовой судьбе своего дяди, это тоже заслуга школы.

Порой в иных школах, увлекаясь поисками материалов, связанных с жизнью «своего» героя, ребята словно бы не замечают тех, кто живет рядом с ними, — судьба героя приобретает как бы изолированный, исключительный характер. Есть и другая крайность: от любого участника войны ребята непременно ждут рассказов о подвигах, а если выясняется, что из ряда вон выходящих подвигов ветеран войны не совершал, что он лишь добросовестно, честно выполнял в дни тяжкой битвы с фашизмом свой долг, это вызывает едва ли не разочарование. А от такого разочарования остается один шаг до равнодушия.

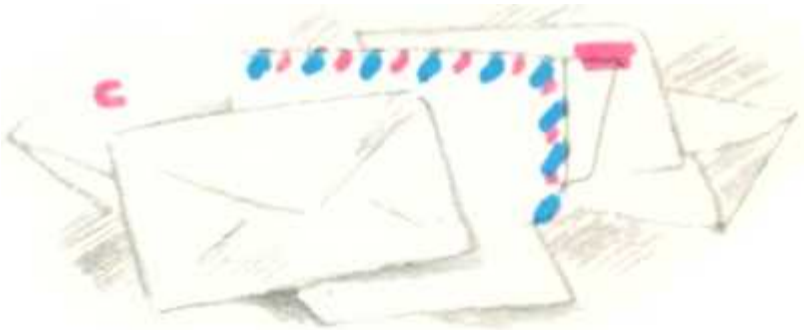
И пожалуй, одно из самых главных достоинств работы, которая ведется в бокситогорской школе, я вижу в том, что ребята понимают, осознают: война требовала огромного напряжения сил всего нашего народа, война была всенародным подвигом. Свой вклад в победу внесли и те, кто подбивал фашистские танки, и те, кто ухаживал за ранеными. Очень верно это почувствовала Инна Николаевна Кученова из Коми АССР, чье письмо я уже приводил выше. Она пишет: «…я не могу, конечно, утверждать, мог ли мой отец совершить подвиг большой важности, но я не ошибусь, если скажу, что каждый солдат в отдельности и все вместе совершили тот большой Подвиг в Великой Отечественной войне, который мы уже тридцать лет называем подвигом советского народа, который лег в основу нашего (детей тех солдат) и вашего (уже наших детей) счастья, нашей светлой и радостной жизни…»

Очень точные слова!

Затихшие, посерьезневшие, стоят первоклассники возле братской могилы. Две девочки кладут цветы на ослепительно белый снег.

И пусть сегодня они, конечно же, еще не запомнят ни точных дат, ни номеров дивизий и полков, сражавшихся здесь, пусть сегодня их представления о войне наивны и трогательны в этой своей наивности (я слышал, как два мальчугана, глядя на сосну, которая, по преданию, сохранила следы осколков и пуль, спорили: «Как ты думаешь: кто стрелял в дерево, наши или фашисты?» — «Скажешь тоже — наши! Наши не будут в дерево стрелять, наши природу охраняют!»), пусть еще не могут эти

ребятишки осознать в полной мере и величие подвига, и тяжесть понесенных нашим народом жертв, все равно я верю: эти минуты, проведенные в молчании сейчас здесь, у братской могилы, запечатлятся, отзовутся в их душах, не пройдут даром…



Что мы защищаем?

Что мы защищаем,
Что мы бережем —
Нашим ратным делом,
Воинским трудом?

Солдатская песня

Как-то один из зарубежных писателей сказал мне: «Хорошо известно, что ваша страна активно борется за мир. Советские люди выступают против войны. А вот вы в своих книжках пишете об армии, о солдатах, рассказываете детям о танках и боевых самолетах, о стрельбах и военных учениях. Как же так получается? Нет ли тут противоречия?» — «Нет, — ответил я, — по-моему, здесь нет никакого противоречия. Советская Армия, как известно, была той решающей силой, которая спасла мир от фашизма. И мы не можем не гордиться этим. И сегодня Советская Армия стоит на страже завоеваний социализма, на страже мира, наша армия никому не угрожает».

Так я ответил нашему гостю.

Наша беседа была недолгой, разговор шел медленно, через переводчицу, и потому я был краток. Будь у нас побольше времени, я мог бы рассказать своему собеседнику о многом. Я обязательно рассказал бы ему о том чувстве, которое испытал давно, много лет назад, будучи еще солдатом.

Тогда, помню, нашему взводу выпало заступать в караул как раз в канун Нового года.

«Конечно, всегда так, — говорили между собой солдаты, — чуть праздник, обязательно нашему взводу не повезет. Другие отдыхают, а мы…»

Но разговоры разговорами, а служба есть служба, и мы готовились к заступлению в караул, как положено, со всей старательностью: протирали автоматы, снаряжали магазины боевыми патронами, подшивали к гимнастеркам свежие подворотнички.

Мне в тот раз предстояло охранять ангар с боевой техникой. Это был самый дальний пост.

Стоял поздний морозный вечер, когда наша смена вышла из караульного помещения.

Снег громко поскрипывал под нашими валенками. Мы шли гуськом, в затылок друг другу: впереди — сержант-разводящий, за ним — трое караульных.

Мы шагали мимо офицерских домиков, в которых по-новогоднему празднично светились окна, мимо клуба, откуда доносилась музыка, мимо темных и тихих сейчас учебных корпусов, где в будние дни солдаты постигали премудрости своей нелегкой профессии. Мы шли молча и сосредоточенно, и автоматы мерно, в такт шагам, покачивались за нашими плечами.

Первым сменился часовой у продовольственного склада, потом у склада ГСМ — горюче-смазочных материалов, где в темноте за оградой из колючей проволоки смутно белели большие цистерны, и наконец наступила моя очередь.

Мы еще не видели фигуры часового, стоявшего у ангара, а оттуда уже прозвучал резкий окрик: «Стой! Кто идет?»

Сколько ни служил я в армии, сколько ни бывал в карауле, но всякий раз этот голос в ночи, в темноте: «Стой! Кто идет?» — будил в моей душе чувство тревожной настороженности.

«Разводящий со сменой!»

Все шло как положено — осмотр печатей, пломб, короткий доклад: «Пост сдан!» — «Пост принят!», потом удаляющиеся шаги караульных — и я остался один.

Здесь, за пределами городка, было темно и тихо. Надвигалась ясная и холодная новогодняя ночь.

Я ходил вокруг ангара, вглядываясь в темноту, вслушиваясь в едва различимые ночные шорохи, и мысли мои опять невольно возвращались к сегодняшнему празднику. Я вспоминал своих товарищей, оставшихся на «гражданке», вспоминал, как весело мы встречали Новый год в прошлом и позапрошлом году, и мне становилось все грустнее оттого, что я сейчас вынужден в полном одиночестве стоять здесь, возле ангара.

Издали, от клуба, ветер донес веселые звуки музыки. Далеко-

далеко простучал по рельсам поезд, мне были видны светящиеся точки вагонных окон, там, за этими окнами, казалось, тоже шла сейчас своя праздничная жизнь. Отстучали колеса состава, и опять наступила тишина.

Вокруг расстилалась заснеженная степь, и только на горизонте еле угадывались очертания таежных сопок.

На черном безоблачном небе ярко и холодно светились крупные звезды.

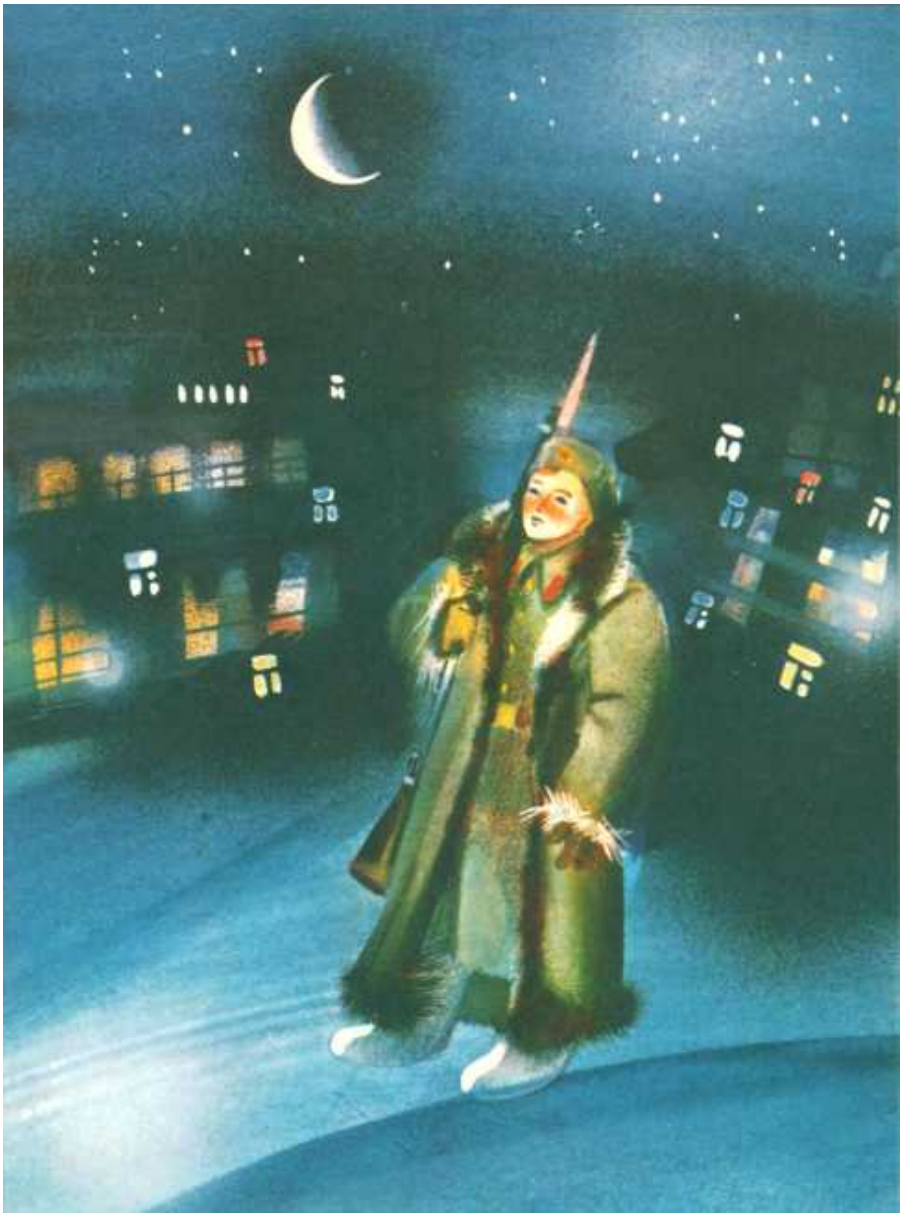
Снова возник вдали — уже встречный — поезд, просверкал цепочкой окон и исчез, и люди, которых он уносил сейчас в другие города, даже не подозревали о том, что вслед им смотрит солдат, одинокий часовой, стоящий на посту…

И опять тишина и простор. И темное небо, и звезды. И казалось, еще немного — и станет осязаемым движение времени и я увижу, почувствую наяву, как старый год сменяется новым.

Совсем особое, почти торжественное чувство вдруг охватило меня.

На какое-то мгновение мне показалось, я отчетливо ощутил, что охраняю не только этот ангар с укрытой в нем и опечатанной боевой техникой — я охраняю и эти поезда, что так стремительно проносятся мимо, и этих людей, которые безмятежно беседуют, сидя на вагонных полках, и эту степь, раскинувшуюся до самого горизонта, и эту тишину, и своих друзей, которые беззаботно веселятся сейчас в моем родном и таком далеком городе. Будто ответственность за весь мир, за его судьбу легла сейчас на мои плечи, плечи солдата.

И еще я подумал в тот момент, что, наверно, забуду многие другие новогодние праздники, забуду веселые новогодние ночи, а вот эта новогодняя ночь теперь уже навсегда останется со мной, навсегда прочно отпечатается в моей памяти.



И я не ошибся. Потом я не раз мысленно возвращался к этой ночи, к этим минутам на посту и, уже будучи штатским человеком, не раз вновь испытывал чувство солдатской гордости — оттого, что ты пусть в малой степени, но тоже причастен к армейскому братству, к грозной и справедливой силе, стоящей на страже мира, охраняющей покой нашей страны, — к великой Советской Армии.

Я испытывал это чувство и на больших войсковых маневрах «Двина». Никогда не забуду, как шли и шли ночью войска, как,

взметая снег, неудержимо двигались вперед колонны танков, как, надрываясь, ревели тягачи, как катили и катили бронированные боевые машины пехоты… Какая мощь ощущалась за этим неотвратимым движением!

А потом, помню, утром в небольшой заснеженной белорусской деревне мы молча стояли возле сельсовета перед простой деревянной мемориальной доской с перечнем фамилий погибших во время войны жителей деревни. Этот скорбный перечень был бесконечно длинен, часто в нем попадались колонки одних и тех же фамилий, только инициалы были различны: целые семьи — братья, сестры, отцы, матери, дети — отдали свою жизнь в смертельной битве с фашизмом. Они в большинстве своем не носили солдатских погон, не имели знаков воинских различий, но в трудный для Родины час все они стали солдатами Родины.

Эта деревянная простая доска на здании сельсовета напоминала нам, как дорого достался нашему народу, нашей стране мир, какой высокой ценой народ наш оплатил Победу. И грохот танков и бронетранспортеров, двинувшихся дальше, казался одновременно и салютом тем, кто лежал здесь, в этой земле, в братских могилах, и обещанием, клятвой всегда защищать, отстаивать дело мира, всегда беречь нашу Родину.

Как память об участии в этих учениях у меня хранится очень дорогая для меня награда — Ленинская юбилейная медаль. На одной стороне медали отчеканен профиль вождя революции, а на другой — слова: «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

И это не случайно. Ведь именно Владимир Ильич Ленин с первых дней существования Советской власти неустанно заботился о том, чтобы первое в мире государство социализма могло надежно защитить себя от врагов.

Да, о многом я мог бы рассказать своему собеседнику. Я рассказал бы ему, что получаю немало писем от ребят — своих читателей. Ребята пишут о своих планах, о том, кем мечтают стать, когда вырастут, расспрашивают о воинских профессиях. И вот что примечательно: среди многих сотен писем-откликов на мои книжки я не встретил ни одного, подчеркиваю, ни одного письма, в котором его автор писал бы: «Я хочу воевать». А вот писем, в которых ребята пишут: «Я хочу служить в армии, потому что наша армия защищает нашу страну, защищает мир» или: «Я хочу стать танкистом, потому что танкистом был мой дед. Он погиб в Великую Отечественную войну, отстаивая свободу нашей Родины», — таких писем много.

Я бы рассказал еще историю, которую услышал однажды,

находясь в танковых войсках, от молодого солдата, механика-водителя. Мы разговорились с ним, и его рассказ о первых больших учениях, в которых он принимал участие, я записал тогда почти дословно.

«…Трудно бывает на учениях, да еще как! А все равно любят их солдаты. Я свои первые учения здесь на всю жизнь запомнил. Я тогда только-только из учебного подразделения прибыл, салажонком, можно сказать, был, практики почти никакой, а тут на третий день подняли нас по тревоге. Июнь стоял, днем — жара, пыль, а мы всё с закрытыми люками. Ох и намучился я тогда! Ладони о рычаги стер — дунуть на кожу и то больно было! А что делать? Командир танка меня подменял, но не может же он все время сидеть за рычагами. Обмотал я рычаги тряпками, кое-как приспособился. А в голове у меня одна мысль: только бы выдержать, не подвести, хуже других не оказаться.

На вторые сутки вышла ночью наша рота к какой-то деревне. Остановились мы за околицей, возле речки. Выбрались из своих танков, а вокруг тишина — просто поразительная: ни собака не пролает, ни петух не прокричит.

Белая ночь была. Светло, только избы стоят темные, тихие — прямо сказочная, призрачная какая-то деревня.

У нас, ясное дело, одно желание: помыться. Грязные ведь все, пыль на зубах скрипит. Пока мы размялись немного, пока мыло да полотенце доставали, видим вдруг: в избах одна за другой начинают беззвучно открываться двери. Распахиваются окна, калитки распахиваются, и люди выходят тоже совершенно бесшумно. Это уже потом я сообразил, что мы просто оглохли за двое суток от грохота танков, просто после этого грохота все звуки казались нам как бы приглушенными, а тогда та бесшумность почудилась мне тоже удивительной, вроде бы сказочной. Как во сне. Ночь ведь, два часа ночи, а вся деревня вышла на улицу.

Окружили наши танки мальчишки, женщины, старики. И несут нам — кто молоко, кто яйца, кто огурцы соленые. Ко мне одна старушка подошла — миску простокваши протягивает: „Поешь, сынок, устал, поди…“

Эту белую ночь, деревню эту я, наверное, никогда не смогу забыть, сколько жить буду. Верите, вот, может, и неловко говорить о себе такими словами, но тогда… тогда я первый раз себя не просто солдатом — защитником Родины почувствовал».

В свой блокнот записал я этот рассказ танкиста уже позже, а сначала он просто запал в душу, глубоко тронул меня, и, когда я работал над повестью «Дочь лейтенанта», он всплыл в моей памяти и лег на страницы этой повести. Но вот что самое

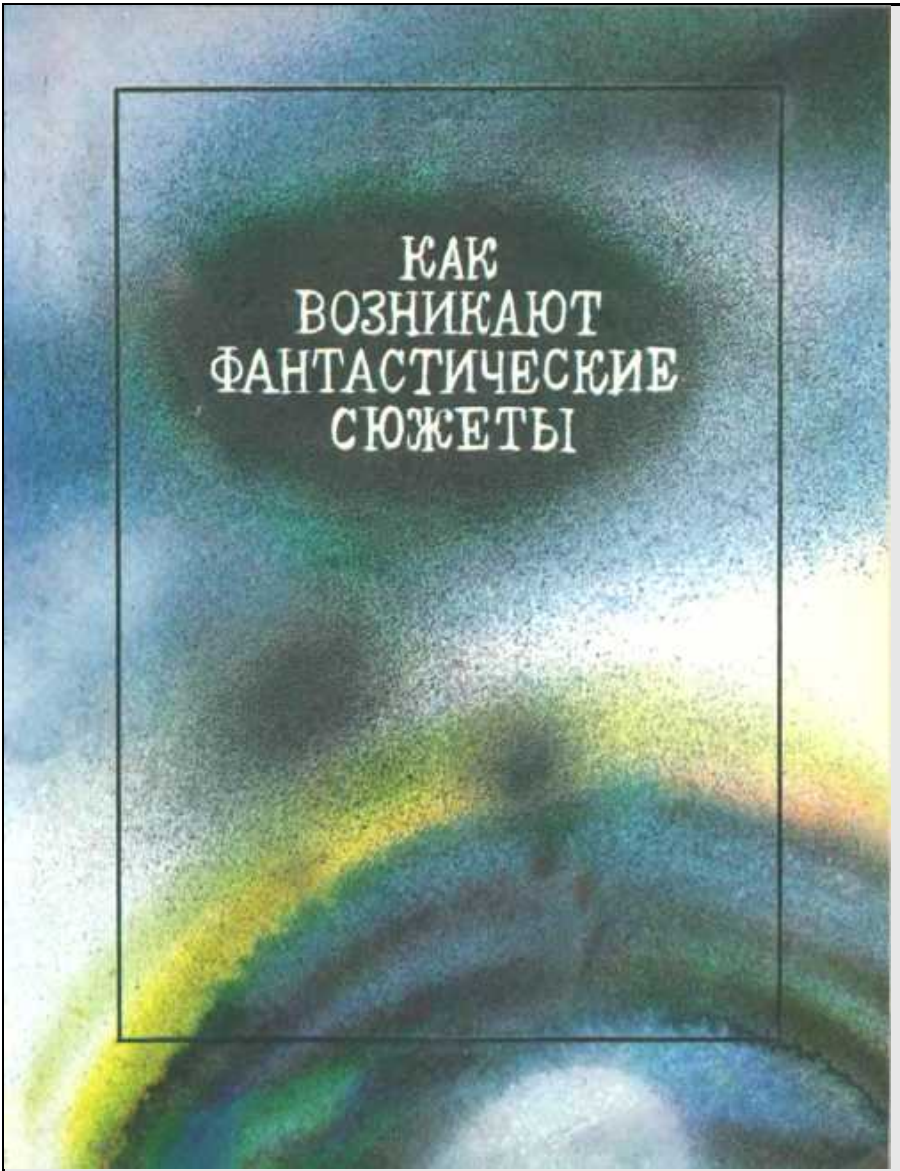
любопытное. Уже позднее, когда повесть была написана, во время маневров «Двина», о которых я уже рассказывал, со мной и моими товарищами произошел случай, удивительно похожий на тот, рассказанный мне танкистом и использованный мною в повести. А было так. Маневры уже заканчивались, когда однажды наша машина приотстала от колонны. Где-то на заснеженных дорогах затерялась и наша полевая кухня. Изрядно проголодавшись, мы, четверо офицеров, зашли в сельский маленький магазин, надеясь подкрепиться. Там продавались какие-то консервы и пряники. Возле прилавка стояли несколько пожилых женщин. Мы купили пряников и собирались уже уйти, когда одна из женщин сказала: «Ребята, подождите немного, не уходите, мы сейчас…» И женщины вдруг стремительно исчезли из магазина. А через несколько минут они появились снова. Запыхавшись, торопясь, они несли нам кринки с молоком. «Попейте, попейте, ребята, свое молочко, домашнее».

Невозможно забыть того выражения заботливости, доброты, участия, которое было написано на лицах этих женщин, которое светилось в их глазах. Да, именно такие встречи на белорусской земле и оставили тогда самое сильное впечатление. Где-где, а здесь, в Белоруссии, на земле, жестоко опаленной войной, щедро политой кровью, отлично знают истинную цену, истинную меру солдатского труда, истинное его значение.

Как тут не подумать о том, что только армия, стоящая на страже мира и справедливости, может пользоваться такой общенародной любовью.

Это понимают и наши друзья за рубежом. Я ощутил это в Вашингтоне, во время встречи с друзьями нашей страны в обществе имени Поля Робсона. Вместе с нами туда пришел Герой Советского Союза, в прошлом отважный разведчик, взявший в плен немало вражеских «языков», полковник Советской Армии, а ныне писатель, Владимир Васильевич Карпов. И вот когда ведущий встречу представил присутствующим Владимира Карпова, рассказал, что это за человек, надо было видеть, какой шквал аплодисментов, какая буря оваций поднялась в зале. Люди приветствовали Владимира Карпова стоя. И конечно же, подобный взрыв ликования был не только данью уважения лично этому отважному человеку. Вашингтонцы, пришедшие на встречу, выражали таким образом и свои чувства по отношению к Советской Армии. Знаменательно, что аплодировали Карпову те же люди, которые только что в этом же зале горячо и взволнованно выступали за мир, за разоружение. И в этом не было ничего удивительного. Потому что эти люди знали: нет на земле страны, более последовательно и энергично борющейся за

мир, более открыто и честно протягивающей руку дружбы всем народам и странам, чем Страна Советов!



КАК ВОЗНИКАЮТ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ

Как возникают фантастические сюжеты

Однажды мне выпала возможность стать участником двусторонней франко-советской встречи. Встреча эта, организованная обществом «Франция — СССР», была посвящена проблемам борьбы за мир и разоружение и проходила в Париже.

Я уже не впервые приезжал в Париж, но всякий раз, попадая в этот город, я словно бы терял вдруг ощущение реальности. Как будто город, по улицам которого я ездил в туристском автобусе, по бульварам которого бродил, был создан не из камня и металла, а лишь возник в моем воображении. Стоит только зажмуриться на секунду, открыть снова глаза, и он исчезнет. Не знаю, почему возникало такое ощущение. Может быть, потому, что, еще прежде чем мне впервые довелось ступить на парижские улицы, я уже и правда выстроил этот город в своем воображении. В этом мне помогли Гюго и Стендаль, Бальзак и Золя. А может быть, потому я испытывал такое ощущение, что, как почти всякого иностранца, меня охватывало в Париже чувство праздничности.

Но в те дни, о которых я рассказываю, к этому чувству праздничности примешивалась горечь тревоги: казалось, я вдруг физически, до боли в сердце ощущал, как хрупок этот праздничный мир, как легко разрушить его, превратить в дым и пепел.

Нет, не случайно приходили мне в голову такие мысли, не случайно тревожили они меня.

Наша двусторонняя встреча открылась в зале заседаний одного из парижских отелей. Я увидел здесь немало знакомых лиц, хотя со многими из этих людей мне никогда не приходилось встречаться. Но все-таки я знал их — по газетам, по телерепортажам, по журнальным фотографиям. Здесь собрались известные общественные деятели Франции, сенаторы и депутаты парламента, заслуженные генералы, храбро сражавшиеся в годы войны против фашизма, ученые. Авторитетные деятели культуры, академики, историки и врачи, крупные специалисты в области международных отношений и военного дела были представлены и в советской делегации.

Два дня длилась эта встреча. Два дня в зале заседаний звучала русская и французская речь, два дня с утра и до вечера напряженно трудились переводчики. Шел деловой и в то же время взволнованный разговор о том, как еще успешнее, еще энергичнее бороться за мир, против опасности новой войны, за дружбу и взаимопонимание между народами и как преодолеть яростное сопротивление тех, кто наживается на гонке вооружений.

Самые разные люди выступали в зале парижского отеля — молодые и старые, те, кто своими ушами слышал разрывы бомб и вой снарядов, и те, кому никогда не доводилось испытывать ужасов войны, — но в голосах их звучала одна и та же тревога.

«Задумайтесь, — говорили они, — уже сегодня на каждого жителя Земли, на каждого человека на нашей планете приходится по пятнадцать тонн взрывчатки! По пятнадцать тонн — на одного человека!»

«Задумайтесь, — говорили они, — на земном шаре накоплено нынче столько ядерных зарядов, что их мощность равняется одному миллиону тремстам пятидесяти тысячам атомных бомб, подобных той, которая была сброшена американцами на Хиросиму. Одному миллиону тремстам пятидесяти тысячам! А ведь всего одна такая атомная бомба полностью уничтожила огромный город».

«Задумайтесь, — говорили они, — если бы удалось сократить расходы на вооружение во всем мире всего на один процент — только на один-единственный процент! — на эти средства можно было бы накормить двести миллионов голодающих детей Африки, Латинской Америки, Азии!»

Подобные цифры не могут не потрясать. Человеческий разум не хочет мириться с ними. Вечером, когда кончались наши заседания, я выходил из отеля, я бродил по сверкающим огнями, праздничным бульварам Парижа, но цифры эти продолжали преследовать меня. Казалось, никогда раньше я так ясно не ощущал угрозу, нависшую над миром, и над этим прекрасным городом, и надо всем, что живет на Земле и радуется жизни…

(И вот очень характерная деталь. Как-то, уже приехав в Советский Союз, я привел услышанные мной на парижской встрече цифры в одном из своих очерков. Очерк прочли в редакции, и вдруг мне говорят: «Все хорошо, только приведенные вами данные не соответствуют действительности». — «Как так? Почему? — поразился я. — Я же сам, своими ушами слышал их! Они же записаны в моем блокноте, вот, пожалуйста, можете убедиться!» — «Мы верим вам, — сказали мне в редакции, — но вы не учли одно обстоятельство: время идет и количество

вооружений, ядерных зарядов и всего прочего растет слишком стремительно, так что подобные цифры устаревают очень быстро…» Очень быстро… А ведь и те цифры, что были названы в зале парижского отеля, выглядели такими чудовищно громадными, так ужасали, что вроде бы дальше и некуда. И вот, оказывается, и они уже устарели. Пожалуй, лишь теперь я впервые наглядно ощутил все страшное значение этих слов: «гонка вооружений». Действительно — гонка!)

Впрочем, вернемся в зал заседаний парижского отеля. В те дни я сделал для себя еще одно важное открытие. Только там, в Париже, я впервые по-настоящему, особенно отчетливо почувствовал, отчетливо понял: какая же это упорная, кропотливая и нелегкая работа — да, именно работа! — борьба за мир. Какой настойчивости, какого мудрого терпения, какой глубокой убежденности в своей правоте, в правоте своего дела она требует! В зале парижского отеля собрались наши друзья, сторонники мира, но и здесь в голосах выступавших нередко звучали растерянность и страх перед надвигающейся опасностью войны, сталкивались различные точки зрения на события, сотрясающие нашу планету, и членам советской делегации приходилось терпеливо убеждать, доказывать, спорить…

Да, это была настоящая работа! А какой поистине титанический труд нужен, какое упорство, самоотверженность и выдержка, когда нашим государственным деятелям, руководителям партии, дипломатам приходится вести долгие переговоры с теми, кто в душе ненавидит социализм, кто изо всех сил противится разоружению, кто тайно и явно воздвигает различные препятствия на пути к всеобщему миру!

Я думал об этом, сидя в зале парижского отеля, когда мое внимание особо привлекло очередное выступление. Выступал видный ученый. Он говорил негромким голосом, вроде бы даже буднично, по-деловому спокойно, но за словами его угадывались затаенная боль и тревога. Он говорил о возможном оружии будущего. Он говорил о тех средствах уничтожения, которые уже сегодня вынашиваются в планах заокеанских генералов, рождаются в заокеанских научных лабораториях. Он говорил о том, что уже сегодня делаются попытки создать оружие массового психического поражения. Такое оружие, по замыслу его изобретателей, способно воздействовать на психику человека, на его мозг, на его память, способно превращать большие скопления людей в неуправляемое, охваченное безумием и паникой стадо.

Да, мне и раньше приходилось читать о подобных опытах. Такие опыты ставились в Соединенных Штатах. С помощью химических веществ экспериментаторы, работавшие по заданию

Центрального разведывательного управления и военных ведомств, воздействовали на мозг человека, стремясь превратить его в послушного робота, слепого и жестокого исполнителя чужой воли.

Можно ли придумать что-либо более бесчеловечное и зловещее, чем подобные опыты!

Ученый, выступавший на парижской встрече, призывал своих коллег к бдительности, призывал задуматься над тем, кем и во имя каких целей могут быть использованы новые открытия после того, как они выйдут за пределы лабораторий, призывал поднять голос протеста против попыток создания нового страшного оружия.

А я слушал его, и тревога разрасталась в моей душе. «Как же так? — думал я. — Ведь сами по себе ни генералы, ни политики, вынашивающие планы господства над миром, не способны ни поставить подобные опыты, ни изобрести подобное варварское оружие. Для этого нужны знания ученых, их труд, их талант, наконец! Так неужели же эти ученые не ведают, что они творят? Или они утешают себя мыслью, что их главное дело — это опыт, эксперимент, новые исследования, а на что и куда они пойдут, в чьих руках окажутся — это уже, как говорится, не их забота. Или считают, что все равно бессильны что-либо изменить в этом мире, как-либо повлиять на политику власть имущих? И не преступна ли такая позиция?»

Как же велика сегодня ответственность ученого перед людьми, перед всем миром, перед человечеством! Об этом нельзя не помнить.

Все то, что я услышал в зале заседаний парижского отеля, все те мысли, которые вынес оттуда, долго не оставляли меня, будоражили и тревожили. Мне казалось, что я тоже не имею права не отозваться на заботы и тревоги мира, не сказать о том, что сегодня волнует многих и многих.

«Кто же, если не писатели, — говорил я себе, — могут и должны поднимать тревогу в сердцах людей, предупреждать о тех опасностях, о тех угрозах, которые сегодня еще таятся в лабораториях, еще маскируются под названием чисто научных исследований, а завтра по мановению новых претендентов на мировое господство могут обернуться жестокой и беспощадной силой?»

«Но как, каким образом лучше выразить свое беспокойство, свои тревожные размышления, — думал я, — чтобы они стали понятны и доступны и другим людям? Как это сделать?»

Вот тогда-то в голове у меня и стали складываться сюжеты моих первых фантастических рассказов. Тогда-то я и взялся за

перо, чтобы написать такие рассказы, как «Наездник», «Катастрофа», «Торпеда» и другие. Насколько я справился со своей задачей, насколько достиг той цели, которую ставил перед собой, судить уже не мне. Об этом судить читателям. Мне же просто хотелось рассказать о том, что даже самые фантастические сюжеты сплошь и рядом оказываются очень тесно связаны с реальной жизнью.

Катастрофа

ероятно, название этого города, расположенного на самом юге страны, там, где с одной стороны простиралась пустыня, а с другой поднимался горный массив, так бы и осталось мало кому известно, так бы и не попало никогда на страницы газет, если бы не событие, которое, подобно то ли внезапной эпидемии, то ли стихийному бедствию, обрушилось на его улицы, на здания офисов и на небольшие коттеджи, на казармы национальной гвардии и на мэрию, сотрудники которой занимались в те минуты своими обычными делами, на полицейский участок и на небольшой, но достаточно фешенебельный отель, на магазины и закусочные и на стадион, где проходил матч по регби между двумя местными командами… Одним словом, как потом выяснилось, никто из жителей, где бы ни укрывался в эти минуты, не избежал того ужаса, который, точно невидимый смерч, пронесся над городом. Впрочем, этому небольшому городу и раньше уже случалось переживать стихийные бедствия: бывали здесь и землетрясения, и ураганы, приходившие с океана, и песчаные жестокие бури, был однажды и сильнейший пожар, вызванный аварией на нефтепроводе… Об этих событиях долго помнили в городке, порой даже именно от них вели отсчет времени, говоря: это было в тот год, когда пронесся ураган «Мария», это случилось за два года до землетрясения, это случилось в те дни, когда полицейский Джексон получил ожоги, сражаясь с огнем… И однако же, все эти происшествия, как бы тяжелы они ни были, какой бы урон ни наносили городу, даже в малой степени не могли сравниться с тем, что произошло во вторник утром. И наверное, самое страшное заключалось в полной необъяснимости и непредвиденности бедствия, обрушившегося на город.

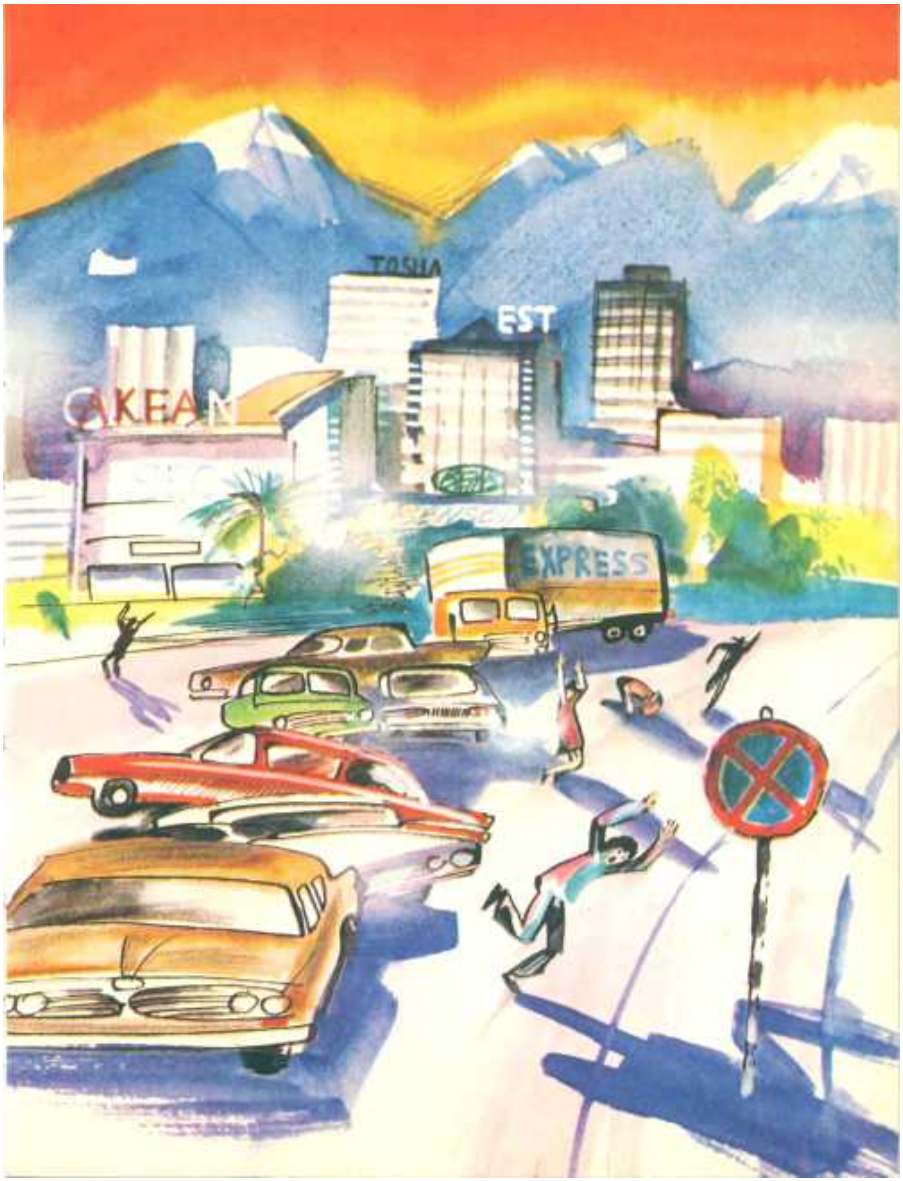
С утра в этот день, казалось, ничто не предвещало ничего необычного. Небо над городом было ясным, барометры

показывали нормальное устойчивое давление, и прогноз погоды, переданный по телевидению, был как нельзя более благоприятным. Как обычно, открывались закусочные и магазины, небольшие конторы наполнялись служащими, по улицам бежали машины, дети спешили в школу.

И самое удивительное — впоследствии никто не мог объяснить, что же послужило, что же явилось хотя бы каким-то внешним признаком, начальной причиной надвигающейся катастрофы, ее предвестником. Потом, когда специальная комиссия пыталась восстановить картину всего происшедшего, многие жители города, те, кого опрашивали члены комиссии, могли хотя бы приблизительно рассказать, что именно творилось с ними тогда, могли более или менее последовательно поведать о своих поступках, однако никто был не в состоянии ни определить, ни даже предположить, откуда именно исходил источник опасности.

Единственно, что было достоверно, — это то, что ощущение опасности распространялось хотя и стремительно, но словно бы волнообразно: сначала предчувствие тревоги ощутили жители западной окраины города, затем это предчувствие как бы хлынуло дальше, в глубь городских кварталов. Еще через мгновение это беспокойство, это гнетущее предчувствие, подобное тому, какое испытывают, наверно, животные перед началом землетрясения, уже переросло в панику, в страх, в ужас.

Казалось, страх возникал сам по себе. И чем необъяснимей было его возникновение, тем сильнее становилось чувство давящего, гнетущего ужаса. Тогда никто из тех, кто первым испытал и тревогу, и панику, стремительно перерастающую в страх, и желание бежать, скрыться, спрятаться, еще не знал, что эта волна страха уже катится по всему городу, — каждый был уверен, что лишь он стал жертвой странного приступа болезни, близкой к безумию. Люди метались, одни выскакивали на улицу, надеясь именно здесь обрести спасение от неизвестно откуда надвигающейся катастрофы, другие прятались в домах, падая на пол, укрывая, обхватывая головы руками, третьи пытались выбраться из города на автомашинах, но все то же чувство отчаяния и страха лишало их способности действовать, способности. вывести машину из гаража, включить зажигание, способности верно определить направление движения. И когда те, кто выскакивал из домов, видели искаженные страхом лица других людей, расширенные от ужаса глаза, что-то кричащие рты, всеобщая паника разрасталась, становилась все сильнее, все невыносимее…



Сколько времени длилось это безумие? Тем, кто был охвачен страхом, кто метался в панике или прятался в первом попавшемся укрытии, казалось, будто все тянулось необычайно долго. Однако когда волна паники внезапно схлынула, когда люди начали постепенно приходить в себя, выяснилось: катастрофа продолжалась не больше десяти — пятнадцати минут. Да и была ли катастрофа? Что, собственно, случилось, что произошло за эти четверть часа? Был лишь страх, было предчувствие катастрофы. И тем не менее следы этой вроде бы и несовершившейся катастрофы были столь ощутимы, столь разрушительны, что с

трудом удавалось поверить, будто все это могло произойти в такой ничтожно малый промежуток времени. Разбитые, столкнувшиеся одна с другой машины, высаженные стекла, осколки на асфальте, брошенные, валяющиеся в пыли вещи — сумки, баулы, свертки, какие-то бумаги, веером разлетевшиеся по панели, — все это предстало взглядам тех, кто, опомнившись, но еще не понимая, что же все-таки произошло, озирался в недоумении вокруг. Уже звучали надсадно сирены полицейских машин, уже ринулись по улицам, словно ожившие вдруг, санитарные машины, но теперь мало кто нуждался в их запоздалой помощи…

Город постепенно приходил в свое обычное состояние, возвращался к привычной жизни. И многие уже пытались убедить себя, что все то, что произошло столь мгновенно и внезапно, было скорее лишь результатом их воображения, невольно преувеличенным, чем действительным, реальным бедствием. Уж слишком невероятной, фантастической, ничем не объяснимой казалась волна страха, неожиданно обрушившаяся на город.

Спустя час в выпуске экстренных телевизионных новостей, передаваемых из столицы страны, уже запестрели заголовки: «Эпидемия безумия в городе Кроумсхелл», «Таинственное происшествие на юге», «Еще одна загадка потрясает Землю», «Цунами страха»… Комментаторы спешили пересказать первые подробности происшедшего. Выяснилось, что некоему любителю-кинооператору, Дональду Хорнстайну, владельцу небольшой антикварной лавки, удалось заснять кое-что из происшедших событий, и эти кадры — искривленные, то словно бы вздымающиеся ввысь, то летящие вниз, в дорожный асфальт, как будто камера беспорядочно металась в руках снимавшего, — замелькали, бесконечно повторяясь, на экранах телевизоров. Кинокамера выхватывала отдельные лица, искаженные страхом, глаза, наполненные ужасом; она успела запечатлеть какого-то человека, прижавшегося к стене дома, раскинувшего руки, словно бы стремящегося врасти, вдавиться в эту стену, бегущего, закрывающего лицо ладонями ребенка, затем изображение теряло резкость, расплывалось, темнело, — вероятно, камера вырвалась из рук того, кто держал ее… Но в этих кадрах, сколько ни вглядывались в них люди, не отрывавшиеся от экранов телевизоров, не удавалось обнаружить ничего, что бы могло объяснить, чем был вызван стремительный прилив ужаса, охватившего город. Кто преследовал этих бегущих людей, что побуждало их искать убежища, какая сила заставляла их метаться в панике? Ответа на эти вопросы так и не было. Впрочем, комментаторы уже торопились высказать свои

собственные предположения, уже ссылались на мнения авторитетных ученых, попытавшихся дать первые объяснения всему случившемуся.

«…Воздействие некоего неопознанного объекта, прошедшего над городом, направленного, по всей вероятности, к Земле инопланетянами…»

«…Прорыв сквозь трещины в земной коре невидимых и неощутимых на вкус и запах скоплений ядовитого газа, ранее неизвестного науке и способного необычайно сильно воздействовать на психику человека…»

«…Новый, ранее неведомый медикам вирус, принесенный течением воздуха с гор и способный вызвать массовое мгновенное и столь же быстро проходящее безумие…»

«…Уникальный случай массового психоза, вызванный современными стрессовыми перегрузками, угрозой ядерной войны и всеобщей гибели, сознанием невозможности спастись от этой гибели. Причем психоз этот, исходивший поначалу, вероятно, от одного или нескольких лиц, оказался настолько сильным биополем, заряженным невероятно мощной энергией, что постепенно захватил всех окружающих…»

«…Солнечная радиация. Сконцентрированное космическое излучение, которое по еще неясным причинам оказалось сфокусировано именно в той точке земного шара, где лежит пострадавший город…»

«…Судя по первым гипотезам, повторение подобного явления вряд ли возможно. Жители Кроумсхелла могут быть спокойны. Теперь слово за учеными, призванными разгадать еще одну волнующую загадку природы…»

Однако голоса комментаторов еще продолжали в упоенном возбуждении звучать с экранов телевизоров, когда город ощутил новое приближение волны страха.

И снова, как и несколько часов назад, необъяснимая тревога, перерастающая в панику, прокатилась по городу. Словно бы стремительный ветер ужаса пронесся вновь над домами Кроумсхелла. Все повторилось, только теперь ужас, охвативший людей, был еще больше, еще сильнее, еще отчаяннее, потому что казалось: этому уже не будет конца.

Но как и в первый раз, катастрофа, обрушившаяся на город, длилась не более пятнадцати минут. И опять последствия ее были столь же явственны и сокрушительны, как и прежде. Но теперь, едва только в Кроумсхелл вернулось относительное спокойствие, едва его жители стали снова приходить в себя, началось повальное бегство из города.

Однако первые же машины, вырвавшиеся из города на шоссе,

ведущее на север, были остановлены специальными патрулями. Выезд за черту города был перекрыт, город оказался оцеплен национальной гвардией.

Слова «эпидемия», «вирус», «таинственная болезнь» замелькали в воздухе.

Власти страны по радио неоднократно и настойчиво обращались к жителям Кроумсхелла с призывом сохранять спокойствие и не покидать свои дома. «Опасность распространения по всей стране ранее неизвестной медицине болезни, — говорилось в этом обращении, — заставляет нас полагаться на ваше мужество и гражданскую сознательность. Уже создана особая комиссия, состоящая из специалистов самой высокой квалификации, которая немедленно прибудет в Кроумсхелл для выяснения причин постигшего город бедствия и оказания необходимой помощи. Спокойствие, хладнокровие и стойкость — вот что сейчас больше всего требуется от мужественных жителей Кроумсхелла. Город объявлен зоной стихийного бедствия. Помните: взгляды всей страны сегодня обращены на юг, к вашему городу. И пусть надежда и мужество не покидают вас!»

Такими словами заканчивалось обращение.

Еще несколько часов прошли в тревожном ожидании. Но на этот раз опасения оказались напрасными: нового прилива панического страха не последовало.

А вскоре в аэропорту Кроумсхелла приземлился самолет, на котором прибыла специальная, наделенная особыми полномочиями комиссия.

Комиссия состояла из семи человек, и возглавлял ее профессор Бергсон. В выражении его лица, в манере держаться сочетались озабоченность и оптимизм, деловитость и энергичная жизнерадостность, свойственная людям, уверенным в себе, знающим себе цену. И эта его уверенность, казалось, сразу передалась тем представителям городских властей, которые встречали комиссию в аэропорту. Впрочем, сама фамилия профессора мало что говорила жителям города, и только то почтительное уважение, с каким обращались к Бергсону остальные члены комиссии, заставляло думать, что это человек, действительно обладающий и большим опытом, и немалой известностью в научном мире. В газетных статьях, посвященных Бергсону, сообщалось, что начинал он как специалист в области космической медицины, что ему, в частности, принадлежит ряд открытий, связанных с влиянием космических лучей на организм человека. Так или иначе, но с его появлением в городе и научные телеобозреватели, и радиокомментаторы, и корреспонденты газет

связывали вполне реальные надежды на разгадку тайны тех событий, которые потрясли город.

В первый же день Бергсон охотно дал интервью, точнее, устроил небольшую пресс-конференцию, во время которой на вопрос одного из журналистов, какую именно из ранее уже высказанных точек зрения на причины катастрофы он считает наиболее вероятной, он не без доли юмора ответил, что для него, как для ученого, любая точка зрения остается вполне вероятной до тех пор, пока не будет доказана ее абсолютная невероятность. На вопрос, есть ли у него собственная версия происшедших событий, профессор ответил, что даже если бы у него была таковая, он бы предпочел до поры до времени ее не обнародовать.

Потом Бергсона спросили, приходилось ли ему раньше сталкиваться с чем-либо подобным или по крайней мере встречать в научной литературе упоминания о явлениях, сходных с теми, которые имели место здесь, в Кроумсхелле. Бергсон ответил: нет, не приходилось.

«Если допустить, как утверждают некоторые, что страх и паника, охватившие город, были своего рода эпидемией безумия, вызванной неким, пока неизвестным науке вирусом, — сказал один из репортеров, обращаясь к Бергсону, — то не боитесь ли вы, профессор, стать еще одной жертвой этой эпидемии или, говоря проще, заразиться этой таинственной и грозной болезнью?»

«Что ж, — ответил Бергсон, улыбаясь, — вероятно, это можно было бы считать удачей. В таком случае мы бы сразу получили убедительное доказательство данной версии…»

«Верит ли профессор в то, что ему и членам его комиссии удастся найти истинное объяснение катастрофы, постигшей город, обнаружить действительные ее причины?»

«Если бы я не верил в это, меня бы здесь не было, — ответил Бергсон. — Ну а если говорить вполне серьезно, то главная цель нашей комиссии — воссоздать как можно более полную картину всего, что произошло, со всеми деталями, с малейшими подробностями. Поэтому мы начнем с массового опроса свидетелей разыгравшейся драмы, тех, кто пережил ее. Я уверен, что собранный нами материал, сопоставление различных свидетельств, всего, что запечатлелось в памяти очевидцев, и даст нам возможность ответить на те вопросы, которые стоят сегодня перед нами. Наша комиссия обращается ко всем жителям города с просьбой оказать нам максимальную помощь. Я бы не побоялся утверждать, что разгадка катастрофы — в ваших руках, в руках жителей Кроумсхелла…»

Этими словами Бергсон и закончил пресс-конференцию.

Уже на следующий день комиссия приступила к работе. Одна за другой накапливались магнитофонные записи — рассказы тех, кто был свидетелем и участником катастрофических событий.

Дора М., домохозяйка, 36 лет:

«…Это произошло утром, как раз вскоре после того, как я отправила детей в школу. Муж мой — он банковский служащий — уехал на работу. Нет, никаких признаков беспокойства, тревоги или чего-либо необычного я не замечала: он, как всегда, вывел „тоёту“ из гаража, поцеловал меня в щеку и уехал. А я принялась за уборку. Я хорошо помню: посуда была уже вымыта, и я выключила электропосудомойку, когда вдруг ощутила первые признаки какого-то смутного, неясного беспокойства… Впрочем, такие приступы беспричинного беспокойства у меня бывали и раньше, и потому я в тот момент не придала им особого значения, только подумала, что надо бы принять таблетку транквилизатора. Но я еще не успела добраться до аптечки, как почувствовала, что беспокойство перерастает в самую настоящую тревогу. Я не могла сообразить, чем она, эта тревога, вызвана. Но первая моя мысль была о детях. „Что-то произошло с детьми“, — подумала я. Страх за детей усиливался с каждой секундой, становился все невыносимей. У меня — как бы это объяснить поточнее? — было такое чувство, будто я забыла сделать что-то очень важное и именно потому моим детям теперь грозит опасность. Я заметалась по комнате, пытаясь понять, что же я должна сделать. Но самое ужасное как раз в том и заключалось, что понять, осознать, что мне делать, я была уже не в состоянии. Я в буквальном смысле совершенно потеряла голову. Теперь я вижу, что мои действия в тот момент были абсолютно бессмысленными. В панике я кинулась в детскую: на мгновение мне вдруг представилось, что дети еще там, что они нуждаются в моей защите. Ощущение надвигающейся смертельной опасности было так ясно, так отчетливо, так страшно… Кажется, я закричала. Детская, естественно, оказалась пуста. Но это не только не успокоило, а еще больше испугало меня. Я стала хватать и заталкивать в сумку какие-то детские вещи. Зачем? Не знаю! Потом, позже, когда я уже опомнилась и увидела у себя в руках эту сумку, в ней вперемешку были натолканы дочкины платья и книжки сына, игрушки и баночки с томатным соком, я так и не смогла понять, зачем мне понадобились эти вещи, что я собиралась предпринять… Но в ту минуту с этой сумкой я бросилась на улицу. На улице творилось что-то невообразимое. Как раз напротив нашего дома столкнулись две машины, кто-то, визжа, пробежал мимо меня… Что было дальше, я помню смутно. Я очнулась на ступенях своего дома, я сидела,

прижав к груди все ту же сумку с детскими вещами, — значит, я так никуда и не ушла, не убежала… Страх постепенно отпускал меня, и я с удивлением оглядывалась вокруг, еще не в силах сообразить, что произошло… Уже потом я узнала, что, оказывается, нечто подобное в те минуты испытали и все остальные жители города…»

Роберт С., школьник, 11 лет:

«…Я шел по улице. Мне вдруг стало страшно. Так страшно, как бывает только во сне, когда снится что-нибудь очень плохое. Один раз мне снилось, что на нас упала атомная бомба и все мы горим. Но тогда я закричал во сне и меня разбудила мама. Она села рядом со мной и стала гладить меня по голове, и мне перестало быть страшно, потому что я понял, что все это — про атомную бомбу — мне только снилось. А тут я не мог ведь проснуться, потому что я не спал. И мне было все страшнее. Тогда я стал кричать и побежал. Мне казалось, что за мной кто-то гонится. Я бежал все быстрее. Но у меня не было больше сил. Я не мог больше бежать. Мне не хватало воздуха, чтобы дышать. Я упал и закрыл голову руками. Я не знаю, сколько времени я так лежал. Но по-моему, очень долго. Я думал, что сейчас умру. Потом я почувствовал, как кто-то потряс меня за плечо и сказал: „Вставай, малыш. Все кончилось“. И правда, мне уже почти не было страшно. Я увидел над собой какого-то дяденьку в разорванном комбинезоне. Тогда я встал и пошел домой…»

Дэвид К., полицейский, сержант, 29 лет:

«…Поверьте, профессор, мне приходилось бывать в разных переделках, я в такие иной раз попадал передряги, что у кого другого наверняка волосы бы поднялись дыбом, а я, не хвастаясь, скажу, никогда не терял присутствия духа. Потому что в нашем деле главное — не терять присутствия духа. Так что меня не назовешь трусливым парнем, мне, повторяю, всякого довелось понюхать. Но тут… Тут было совсем другое. Это и мои ребята вам подтвердят.

В то утро мы на нашей патрульной машине готовились выехать на дежурство. Я и еще трое парней, которых тоже, в общем-то, не заподозришь в трусости. Все было нормально, как и положено, ничто не предвещало, что день может оказаться тяжелым. Мы шли к машине, как вдруг… Первым, по-моему, это ощутил Рональд. Он обернулся ко мне и сказал: „Послушай, Дэвид, у меня такое чувство, будто мы забыли закрыть камеру с преступником…“ Он сказал это еще вроде бы в шутку, но взгляд у него — я это заметил точно — был тревожным. И за шуткой он пытался спрятать эту свою тревогу. Он даже пробовал улыбаться. Но в следующий момент лицо его исказилось, и он вдруг

отпрыгнул в сторону, пытаясь выхватить пистолет. Я еще не успел сообразить, что происходит, как на меня навалилось чувство безнадежности. Да, да, именно безнадежности — это, пожалуй, будет самое верное слово. Будто мы оказались в ловушке. Наверно, такую безнадежность испытывает человек, приговоренный к смерти. Наверно. Или еще можно сказать: смертельный страх, это тоже будет точно. Я не стыжусь вам в этом признаться, профессор, потому что уже говорил, что бывал в разных передрягах и знаю себе цену. И тут, помню, я еще скомандовал что-то, я крикнул, чтобы все лезли в машину, но мои парни уже вроде бы и не слышали меня. Кто-то из них выстрелил, кажется, в воздух, не знаю. В общем, это были отчаянные минуты. До сих пор не понимаю, как мы не перестреляли друг друга. Я даже думаю, что, может быть, как раз это чувство безнадежности, ощущение, что сопротивление бесполезно, и спасло нас. Но я вам скажу, профессор: не дай бог никому пережить то, что я пережил в те минуты. Кстати… Кстати, у меня есть одна догадка… Как вы считаете, профессор, это не их рук дело? Ну да, я имею в виду именно русских. Мои парни тоже так считают. Иначе ничем больше это и не объяснишь. Мы только молчим, чтобы не поднимать в городе новую панику. Но вам-то я могу сказать об этом. Вот, пожалуй, и все, что я мог сообщить…»

Сабина Т., пенсионерка, 72 года:

«…Я думала, я умру, я была уверена, что сердце не перенесет этого ужаса. Это было, как в кошмарном сне, когда хочешь крикнуть, позвать на помощь и не можешь. Хочешь двинуться с места, и ноги тебя не слушаются.

Я сначала так и думала, что мне снился кошмарный сон, но ведь не может же всему городу присниться один и тот же кошмар.

Я сидела, охваченная ужасом, в кресле и не могла шевельнуться. Мне хотелось одного: спрятаться, где угодно, как угодно, но только бы спрятаться. Но я не могла шевельнуться, я была словно прикована к своему креслу. Мне кажется, я и сейчас еще окончательно не пришла в себя. Почему нас не выпускают из города? Если это произойдет в третий раз, я определенно не вынесу, от одной мысли, что это может случиться снова, мне становится плохо…»

Джон П., служащий мэрии, 41 год:

«…Очень сожалею, но я ничего не могу рассказать вам, профессор. Мне просто стыдно и неприятно вспоминать, как я себя вел в те минуты. Мне бы не хотелось, чтобы это где-либо было зафиксировано. Не знаю, может быть, и все так себя вели, но я-то говорю о себе. Я никогда не предполагал, что могу повести себя так позорно. И я не хочу снова вспоминать об этом. Да, я

понимаю, нужно для науки… для выяснения причин… и все же… Нет, профессор, не уговаривайте, не убеждайте меня, я ничего не стану рассказывать. Неужели вы никогда не переживали такого, что вам хотелось бы как можно скорее забыть? Поверьте, я до сих пор не сплю ночами, меня мучает бессонница, потому что все время думаю о том, что произошло, вижу, опять все вижу и снова испытываю стыд за себя… Так что не нужно, профессор, настаивать, я ничем не смогу помочь вам…»

Джордж С., преподаватель, 47 лет:

«…Я всегда утверждал и продолжаю утверждать, что человека больше всего пугает то, что необъяснимо. А события, обрушившиеся на нас в тот день, были именно необъяснимы. Ведь каким бы жестоким ни был ураган, ты знаешь, что рано или поздно он кончится, не может не кончиться; как бы сильно ни бушевал пожар, ты знаешь: рано или поздно он будет потушен. Одним словом, у тебя есть понимание происходящего. Вот что важно. А тут этого не было. Никто ничего не понимал. Я думаю, тот страх, который мы испытали в те минуты, можно уподобить страху, который испытывал первобытный дикарь, когда над ним начинали сверкать молнии и грохотать гром. Ведь он тоже не понимал тогда, что происходит. Но главное, к чему я хотел бы привлечь ваше внимание, профессор, даже не это. Главное — поведение толпы в этот момент. Разумеется, „толпа“ здесь термин несколько условный, ибо я имею в виду учащихся нашего колледжа. Собственно, под толпой я подразумеваю любое значительное скопление людей. И поверьте мне, профессор, это была страшная картина. Уж кажется, с самых малых лет мы довольно-таки натренированы по части всяких ужасов, но одно дело, когда видишь подобное на экране, а другое — когда в реальной жизни, вот здесь, в двух шагах от тебя!

Вы представляете, что значит оказаться в охваченной паникой толпе? Что значит видеть бессмысленные, расширенные от ужаса глаза, искаженные страхом лица, перекошенные от крика рты? Представляете? Вот так и выглядел в тот день наш колледж. Страх, казалось, передавался от одного человека к другому и снова возвращался обратно уже с удвоенной силой. Вы хотите знать мое ощущение? Вот оно: ты захвачен, затянут в этот водоворот, ты захлебываешься в нем, ты пытаешься вырваться из него и не можешь, силы оставляют тебя…

И главное, главное — я хочу повторить это еще раз — ты не понимаешь, что происходит…

Впрочем, слова, которые я сейчас произношу, остаются только словами, они не в состоянии передать тот ужас, который я испытал тогда. Да и не я один.

Что же все-таки это было, а, профессор, что же все-таки это было? Теперь меня мучает этот вопрос, он не дает мне покоя, я ломаю над ним голову и не нахожу ответа. Что же все-таки это было?.. Иногда мне кажется, я схожу с ума… Что же все-таки это было?..»

Комиссия под руководством профессора Бергсона работала в городе около двух недель. При активном участии добровольных помощников на магнитофонную пленку были записаны рассказы нескольких тысяч жителей Кроумсхелла, переживших трагедию. О членах комиссии говорили, будто все они работают по шестнадцать часов в сутки. О самом Бергсоне в городе ходили едва ли не легенды. О том упорстве, о той настойчивости и энергии, с которой собирал он факты, свидетельства очевидцев, мельчайшие подробности. Каждый из записанных рассказов, как бы ни был он похож на остальные, вносил в общую картину новые штрихи, новые детали, но Бергсону, казалось, все было мало. Мало, мало! Он требовал новых записей и сам часами выслушивал тех, кто своими глазами видел все, что происходило в городе в роковое утро…

«Если когда-нибудь трагедия, разразившаяся в нашем городе, будет раскрыта, — писала местная газета, — то только благодаря одержимости профессора Бергсона, той одержимости, которая отличает истинного ученого, истинного исследователя от обыкновенного исполнителя…»

Перед отлетом, уже в аэропорту, как и в день своего прибытия в Кроумсхелл, Бергсон вновь устроил краткую пресс-конференцию.

За те две недели, что работал профессор в городе, он немного осунулся, отпечаток усталости явственно читался на его лице, но глаза его смотрели все с той же жизнерадостной уверенностью, как и тогда, когда он впервые предстал перед журналистами. Профессор сказал, что он удовлетворен проделанной работой, что он благодарит всех, кто так или иначе старался помочь комиссии, что поистине огромное количество собранных фактов позволяет надеяться: истинные причины катастрофы будут раскрыты. «Теперь, — сказал Бергсон, — предстоит скрупулезный анализ собранного материала, предстоит долгая и нелегкая работа, но я убежден, эта работа не окажется безрезультатной…»

Это были последние слова, которые произнес Бергсон, перед тем как ступить на трап самолета. На другой день именно эти слова местная газета вынесла в заголовок отчета о пресс-конференции, опубликованного на первой странице.

Комиссия улетела, будничная жизнь, казалось, снова

постепенно возвращалась в город, но разговоры обо всем, что произошло, горячие споры, предположения, одно порой нелепее другого, продолжали будоражить город. Но шло время, никаких сообщений о работе комиссии, о ее выводах не появлялось, иные события сотрясали мир, постепенно страна забывала о существовании маленького городка где-то далеко на юге и о трагедии, им пережитой. И потому, когда спустя еще три месяца в одной из столичных газет появилась маленькая заметка, набранная петитом и зажатая среди различного вида хроники, на нее мало кто обратил внимание, кроме, пожалуй, самих жителей Кроумсхелла.

«Как стало известно, — говорилось в этой заметке, — профессор Бергсон признал, что его комиссии, несмотря на длительное изучение собранных материалов, так и не удалось установить подлинных, достаточно достоверных причин катастрофы, постигшей Кроумсхелл. По всей вероятности, эта трагедия так и останется одной из тех загадок, которые, подобно загадке Бермудского треугольника или небезызвестной „болезни легионеров“, волнуют наше воображение, но до сих пор не получают убедительного научного объяснения. „Если бы на земле не осталось тайн, нам, наверно, было бы скучно жить“, — заявил профессор Бергсон со свойственным ему юмором».

Разумеется, заметка эта вызвала разочарование среди многих жителей Кроумсхелла. Но странное дело — к этому разочарованию примешивалось и чувство гордости: теперь их городок, ничем не прославившийся за долгие годы своего существования, тоже имеет свою загадку, свою тайну. Загадку, которую, возможно, когда-нибудь назовут одной из самых удивительных загадок XX века…

* * *

— Вы неплохо поработали, Бергсон. Я познакомился с вашим докладом.

Генерал (впрочем, он и сейчас, как обычно, был в штатском костюме) похлопал ладонью по лежащей перед ним папке.

— Вы ведь знаете, какое значение придавал наш отдел этой операции. Теперь, надеюсь, ни у кого не останется сомнений, как мы были правы, настаивая на подобных испытаниях. Да, да, их надо было проводить именно так, в естественных, реальных условиях. Честное слово, небольшой переполох в этом городишке стоит тех результатов, которые мы получили. Я благодарю вас, Бергсон.

— Я рад, что моя работа пригодилась, — сказал профессор. — Действительно, экспериментальный материал, полученный нами в Кроумсхелле, поистине неоценим. Но к сожалению, сегодня это не все, что я хотел бы сообщить вам. У меня есть и менее приятные известия. Вот, взгляните, это информация агентства Ассошиейтед Пресс…

Генерал взял листок, протянутый Бергсоном, и, надев очки, быстро пробежал глазами текст:

«На проходящей в Женеве конференции „Врачи — за будущее Земли“ советский академик Коросты лев привлек внимание участников конференции к загадочной трагедии, недавно постигшей жителей Кроумсхелла. „Если внимательно проанализировать ряд сообщений, просочившихся в печать, — сказал ученый, — то нельзя не прийти к выводу, что разыгравшаяся там драма скорее всего является результатом мощного воздействия целенаправленного излучения. Сейчас трудно судить, было ли это заранее запланированным испытанием нового оружия — оружия массового психического поражения или результатом непредвиденной аварии аппаратуры, расположенной на военной базе в горах возле Кроумсхелла, но так или иначе, это событие, которое может иметь далеко идущие трагические последствия“. Академик Коростылев призвал мировую общественность настаивать на немедленном запрете Организацией Объединенных Наций каких-либо работ или испытаний, направленных на создание оружия массового психического воздействия. Создание такого оружия он назвал современным варварством».

— Да, — произнес генерал после небольшой паузы, — это действительно мало приятно. Представляю, какой шум сейчас поднимут все эти миротворцы! Впрочем, знаете, Бергсон, это уже не наша с вами забота. Пусть-ка теперь поработают дипломаты. А мы свое дело сделали. Мы сделали свое дело, Бергсон!

LUCAS
91

Торпеда

Президент был убит тремя выстрелами в упор в четверг, в 16 часов 5 минут, в тот момент, когда после завершения торжественной церемонии открытия нового культурного центра он направлялся к своей машине.

Стрелявший в президента был арестован тут же, на месте преступления. Им оказался 42-летний Джимми Браун, в прошлом солдат морской пехоты, затем мойщик машин на заправочной станции, нынче человек без определенных занятий, сравнительно недавно судимый за мелкое воровство и отбывавший тюремное заключение в течение шести месяцев. На вопрос, из каких побуждений он стрелял в президента, Джимми Браун ответил: «Это мое личное дело. У меня с ним были давние счеты. Я должен был отомстить этому человеку, и я отомстил».

На вопрос, были ли у него сообщники и оказывал ли ему кто-нибудь помощь в организации покушения, Джимми Браун категорически ответил «нет» и добавил с оттенком гордости: «Я все сделал один».

— Как бы не так! — воскликнул Артур Гринвуд, выключая телевизор. — Как бы не так! Нужно быть круглым идиотом, чтобы в это поверить! Старая история! Убийца-одиночка! У него, видите ли, были давние счеты с президентом! А вы обратили внимание, Юджин, на выражение лица этого типа, этого Джимми Брауна? Ведь ни страха, ни тени раскаяния — одно лишь удовлетворение от хорошо выполненной работы!..

В тот момент, когда страна узнала о покушении на президента, Артур Гринвуд дописывал статью под названием «Схлынет ли волна преступности?». По давней журналистской привычке Гринвуд не умел, не любил работать в тишине. Он стучал на портативной машинке, подавал короткие реплики

своему старому приятелю Юджину Макклоу, который рассказывал ему о поездке на Ямайку, и время от времени бегло посматривал на экран телевизора: там завершался репортаж о торжественном открытии нового культурного центра.

Когда прозвучали хлопки выстрелов, оба, и Гринвуд, и Макклоу, не сразу поняли, что произошло. Толпа на экране, только что плотно окружавшая президента, вдруг словно бы распалась на два людских водоворота. В центре одного из них был президент, в центре другого — тот, кто стрелял в президента. Президента быстро пронесли к машине, еще раз мелькнуло на экране лицо покушавшегося, которого крепкой хваткой держали агенты секретной службы. И все кончилось.

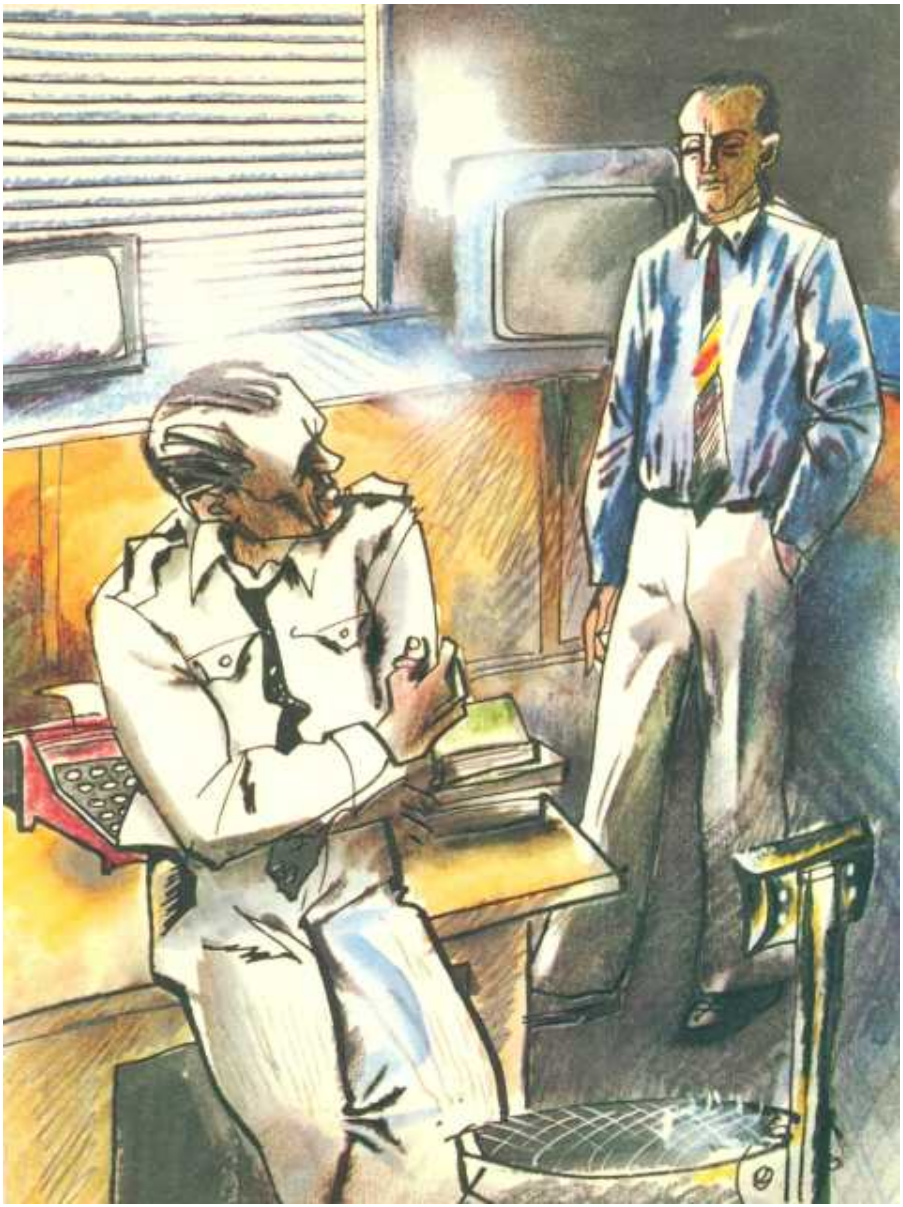
— Нет, вы только подумайте, Юджин, — продолжал возмущаться Гринвуд. — Нам опять хотят подсунуть убогую версию преступника-одиночки! И вот увидите, эти старые ослы из следственной комиссии на нее клюнут! Я не сомневаюсь в этом ни одной минуты. Хотите держать пари, Юджин, что так и будет?

— По-моему, вы слишком категоричны, Артур, — сказал Юджин Макклоу. — Вы торопитесь с выводами. Кто знает, может быть, это действительно маньяк-одиночка. Нельзя исключать и такую возможность.

— Ну да! — саркастически воскликнул Гринвуд. — Один маньяк стреляет в председателя конгресса «Народ за разоружение», другой выпускает семь пуль в сенатора, посмевшего заявить, что в нашей стране сотни политических заключенных, третий — разумеется, тоже маньяк — убивает президента как раз в тот момент, когда президент вступил в борьбу с кланом Миллеров… Не слишком ли много развелось нынче маньяков? И не слишком ли точно они выбирают свои цели? Вот именно — не слишком ли точно? Вы не задумывались над этим, Юджин?

— Я говорю только об одном: не нужно спешить с выводами. Нужны доказательства.

— Доказательства будут, Юджин. Я ручаюсь, доказательства будут. Вы знаете, Юджин, какую ошибку совершали все, кто писал о подобных преступлениях, кто пытался расследовать их самостоятельно, своими силами? Их ошибка была в том, что они слишком поздно принимались за это дело. Когда и многие свидетели были уже убраны, и улики уничтожены. Мы с вами не повторим этой ошибки. Мы начнем наше расследование завтра же. Если, разумеется, вы изъявите готовность помочь мне в этом деле. И для начала… Для начала нам нужна биография Джимми Брауна, так сказать, полное его жизнеописание по дням и часам, чем подробнее, тем лучше. С этого мы и начнем.



Они встретились вновь в кабинете у Артура Гринвуда через неделю.

— Ну что ж, — сказал Гринвуд. — Давайте посмотрим, чем мы располагаем. Но прежде всего, Юджин, я хотел бы обратить ваше внимание на показания Джимми Брауна, разумеется, на те, которые проникли в печать. Вам не бросается в глаза, как настойчиво Джимми Браун подчеркивает, что действовал в одиночку? Один, один, один! Он так и твердит об этом. И не

кажется ли вам, что, когда человек столь упорно подчеркивает обстоятельство, которое, кстати сказать, неспособно принести ему никакой выгоды, никакого облегчения участи, за этим что-то кроется? Не значит ли подобное упорство обвиняемого, что это кому-то нужно, что кто-то в этом заинтересован? Что вы на это скажете, Юджин?

— Возможно. Но с другой стороны, ведь действительно нет и намека на какой-либо заговор. Вокруг Джимми Брауна — пустота. Я пытался выяснить его связи. Ничего, абсолютно ничего, никаких нитей, за которые можно бы ухватиться. Так, мелкий сброд, наркоманы, бродяги… И никого больше. Остается единственная версия — маньяк-одиночка. Как бы вы против нее ни ополчались, Артур, но это самое реальное предположение.

— Однако этот маньяк-одиночка, между прочим, переезжает в течение нескольких месяцев из города в город вслед за президентом, останавливается в отелях, покупает оружие… Я специально не поленился просмотреть все кадры кино- и телехроники с участием президента в различных массовых торжествах и церемониях. И знаете, что я обнаружил? — Он сделал паузу и произнес с явным торжеством: — Почти во всех кадрах мне удалось обнаружить присутствие Джимми Брауна. Иногда он оказывался весьма близко от президента, но что-то, вероятно, мешало ему выстрелить. Или он ждал чего-то, какого-то сигнала, не знаю. Во всяком случае, он следовал за президентом по пятам. На какие, спрашивается, деньги? Вам не кажется примечательным этот факт, Юджин?

— Наличие денег у Брауна еще не доказывает, что он имел сообщников. В конце концов, в тюрьме, как мы знаем, он оказался тоже не за благотворительность. Так что мало ли откуда могли появиться у этого человека деньги…

— Допустим. Кстати, насчет тюрьмы… Тут есть одна очень любопытная деталь. Впрочем, к ней мы еще успеем вернуться. А теперь давайте, Юджин, все-таки попытаемся составить жизнеописание Джимми Брауна. Сразу отбросим его детские годы: там не просматривается ничего такого, что могло бы нас интересовать. Юность… Вот юность… Тут есть над чем поразмыслить. Тем более что в печать проникли сведения, будто именно в юности будущий президент кровно оскорбил Джимми Брауна и будто именно с тех пор, по словам самого Брауна, он затаил ненависть к президенту.

— Вам кажутся правдоподобными эти россказни? — усмехаясь, спросил Юджин.

Некоторое время Артур Гринвуд молчал, словно бы нарочно затягивая паузу. Потом сказал:

— Вы спрашиваете, Юджин, кажутся ли мне правдоподобными 100 эти россказни? Я вам отвечу. Джимми Браун провел свою юность в том же городе, что и будущий президент. Не правда ли, примечательное обстоятельство? Мы не можем исключать возможности, что их пути некогда пересеклись. Но это не все. Мне удалось выяснить, что именно тогда, когда Джимми Браун вступал в пору своей юности, его родители, владевшие двумя небольшими магазинами, разорились. Семейство же будущего президента было одним из самых богатых семейств в городе. Можно допустить, что именно оно, это семейство, сыграло какую-то роль в разорении родителей Брауна…

— Но, Артур, — удивленно сказал Юджин Макклоу, — все, что вы сейчас говорите, работает именно на ту версию, которую вы отрицаете! Давние личные счеты и так далее…

— Не торопитесь, Юджин. Чтобы опровергнуть аргументы противника, надо прежде всего обнаружить их самые сильные стороны. Итак, допустим, что действительно Джимми Браун много лет тому назад, в юности, был тяжко оскорблен будущим президентом; допустим также, что семья будущего президента сыграла некую зловещую роль в судьбе родителей Брауна. Тогда встает вопрос: почему в течение многих и многих лет у Брауна не возникала мысль свести счеты со своим обидчиком? Почему она возникла только теперь? Более того. Я берусь утверждать, что мысль об убийстве президента у Джимми Брауна возникла только после того, как он вышел из тюрьмы. У меня хватило терпения просмотреть хроники с участием президента, относящиеся к тому времени, когда Джимми Браун был еще на свободе. И вот что поразительно, Юджин: ни в одном, я подчеркиваю, ни в одном кадре мне не удалось обнаружить Брауна. Следовательно, повышенный интерес к президенту возник у него лишь после пребывания в тюрьме. Заметим это. Это существенно.

— Но это же вполне объяснимо, Артур. Человек попадает в тюрьму, он заново прокручивает перед собой всю свою жизнь, особенно обостренно воспринимает все свои прошлые неудачи и обиды. Они у него гиперболизируются, разрастаются до невероятных размеров, мучают его, заставляют искать возможности отыграться. А тут еще постоянная мысль о том, что в то время, когда он раздавлен жизнью, когда, униженный и отвергнутый обществом, вынужден валяться на тюремной койке, его ровесник, росший в том же городе, что и он сам, достиг вершин успеха. Он — президент… Да одна эта мысль может кого угодно свести с ума…

— Все это звучит очень убедительно, Юджин, если бы не одно

обстоятельство. Я побывал на родине Джимми Брауна.

— Вы?

— Да, да, Юджин, я слетал туда, я встретился там с его матерью и сестрами. Все они в один голос утверждают, что не помнят какой-либо ссоры между Джимми и будущим президентом. Они даже не допускают такой возможности. Более того, они уверяют, будто Джимми вообще никогда не встречался с будущим президентом…

— Что же, тогда все это — плод его больного воображения?

— Не знаю. Не могу сказать определенно. Мать Джимми и его сестры — люди малообразованные, запуганные, возможно, они просто боятся сказать правду. Во всяком случае, ни доказать, ни опровергнуть тот факт, что Джимми Браун в юности встречался с будущим президентом и был оскорблен им, мы пока не можем. Запомним это. И вот что мне кажется, Юджин: разгадку этой истории несомненно надо искать в тюремной камере. Поверьте моему чутью, именно там, в тюрьме, с Джимми Брауном произошло нечто такое, что перевернуло его жизнь. Что именно случилось с ним там — вот главный вопрос, на который мы с вами должны попытаться ответить. А потому завтра же я еду в тюрьму. Вас же, Юджин, если энтузиазм ваш еще не иссяк, попрошу по мере возможности проследить, как вел себя Браун сразу после выхода из тюрьмы…

— Итак, Юджин, я побывал в тюрьме. Образно говоря, я обнюхал там все углы и облазил все закоулки. И я обескуражен. Я вам честно признаюсь, Юджин: я совершенно обескуражен. Надзиратели, которые знали Джимми Брауна, в один голос клянутся, что он ушел из тюрьмы точно таким же, каким туда явился. И я думаю, им нет смысла лгать. Хотя, конечно, поручиться на все сто ни за кого нельзя. Но если верить моей интуиции, интуиции старого газетного волка, они говорят правду. И они уверяют, что не замечали за Джимми Брауном никаких странностей, ничего такого, что выделяло бы его среди других клиентов их богоугодного заведения. «Джимми Браун не мог убить президента! — вот что они мне сказали. — Он не тот человек. Он из тех, кто играет только на мелкие ставки». Тем не менее он убил, уж в этом-то нет никаких сомнений. Не двойник же Джимми Брауна, в конце концов, стрелял в президента!

— А почему бы не допустить и такую возможность? — сказал Юджин.

— Нет уж, это было бы чересчур сложно! Еще немного, и я, кажется, начну склоняться к мысли, что Джимми Браун действительно маньяк-одиночка. Хотя разум мой протестует

против такой версии. Однако, вы знаете, Юджин, мне удалось установить, с кем вместе пребывал Джимми Браун в тюремной камере на протяжении всех шести месяцев. И здесь не за что зацепиться! Все тот же мелкий, невыразительный сброд! У меня было еще одно предположение — посетители. Мог же кто-то посещать его в тюрьме. Я надеялся отыскать некую таинственную личность, которая являлась к Джимми Брауну, я был почти убежден, что такой человек должен был отыскаться, не мог не отыскаться. Я предполагал, что именно эта таинственная личность… Впрочем, что долго распространяться… Я никого не нашел, Юджин. Ни единая душа, если верить тюремному журналу, не посещала Джимми Брауна! Ни единая душа, за исключением тех, кто обязан был это делать по долгу службы, — тюремный священник и тюремный доктор. Я разговаривал со священником. Он так же, как и надзиратели, уверяет, что не заметил в характере Джимми Брауна никаких перемен. «Но может быть, беседуя с вами, — спросил я священника, — Джимми Браун упоминал о своей юности, об обидах, нанесенных ему тогда, говорил что-нибудь о неудавшейся жизни, сетовал на судьбу?» — «Нет, никогда. Вообще, он не особенно был склонен к душеспасительным беседам», — сказал священник. Это все, чего мне удалось от него добиться. Одним словом, Джимми Браун вышел из тюрьмы все тем же Джимми Брауном, что и вошел в нее. Это мы, пожалуй, можем уже утверждать точно. Единственно, с кем мне не удалось встретиться, — это с тюремным врачом. Он больше не работает в тюрьме. На всякий случай я попросил, чтобы мне навели о нем справки. Но я не думаю, что он сумеет добавить что-нибудь новенькое к тому, что я услышал. Итак, Юджин, загадка остается. А что у вас? Что вы сумели выяснить?

— К сожалению, немногое. Вероятно, я не гожусь в детективы. Я не сумел установить, что делал Джимми Браун сразу после выхода из тюрьмы. След его теряется. Скорее всего он бродяжничал или жил у случайных знакомых. Где и как именно — неизвестно. Во всяком случае, в родном городе он появляется лишь спустя три с лишним месяца после того, как снял арестантскую робу. И вот дальше уже его путь хорошо прослеживается. Переезды из города в город: начинается та самая погоня за президентом, о которой вы говорили… Это все, что мне удалось узнать.

Гринвуд некоторое время молчал, задумавшись. Потом он стукнул себя кулаком по колену.

— А ведь в этом что-то есть, Юджин! Вам не кажутся наводящими на размышления по крайней мере два обстоятельства? Первое. Человек вышел из тюрьмы, человек

только что сбросил, как вы выразились, арестантскую робу, ему до черта надоели все тюремные порядки, решетки, замки, надзиратели… Ему хочется отдохнуть от всего этого, отойти… Куда же его потянет в первый же день? Куда? Ну вот так, чисто психологически?.. Домой, конечно же домой, к родным, к домашнему, что называется, очагу. И Джимми действительно появляется у домашнего очага, но появляется лишь три месяца спустя. Что же он делал эти три месяца? Что мешало ему сразу же приехать в родной город? На этот вопрос мы пока, к сожалению, не можем ответить. Обстоятельство второе, еще более серьезное. Если исходить из нашей прежней версии, будто именно в тюрьме с Джимми Брауном произошел некий решающий перелом, то естественно было бы предположить, что свою охоту за президентом он начнет сразу же, едва только окажется на свободе. Но теперь мы знаем, что этого не случилось. Погоня за президентом начинается только спустя три месяца. Опять эти три месяца. Если бы нам знать, Юджин, где он был и что делал эти три месяца!

— У меня такое ощущение, что мы с вами вышли на верный путь, — сказал Юджин.

— Но что толку! Что толку, если этот путь привел нас в тупик! — в досаде воскликнул Гринвуд. — Если он оборвался, едва наметившись, и перед нами — пропасть, обрыв. И ни одной зацепки, ни одной даже крошечной зацепки, которая могла бы помочь нам. И все-таки не будем терять присутствия духа. Впрочем, я, кажется, уговариваю не столько вас, сколько себя. Давайте прервем наше разбирательство до завтра и подумаем еще раз: не пропустили ли мы какую-нибудь деталь, какую-нибудь мелочь, за которую можно было бы ухватиться! Итак, до завтра!

На следующий день Гринвуд сам позвонил Юджину.

— У меня есть новости. Приходите, только побыстрее, я сейчас должен уехать. Кажется, мы напали на след.

Не прошло и четверти часа, как Юджин Макклоу уже сидел в кабинете Гринвуда. Гринвуд по своей привычке расхаживал из угла в угол.

— Помните, Юджин, я вчера говорил вам о тюремном враче, который посещал Джимми Брауна? Я не возлагал на него особых надежд, но все-таки попросил навести о нем справки.

— И что же? Вы встретились с ним?

— Нет, я не встречался с ним и вряд ли встречусь. Дело в другом, Юджин. Помните, я говорил, что он ушел из тюрьмы. Так вот, я узнал, у *кого* он работает теперь.

— У кого же? Да говорите, Артур! Или вы нарочно подогреваете мое любопытство своими бесконечными паузами?

— Он работает теперь у профессора Клейста. У Герхарда Клейста, в институте экспериментальной психиатрии. Вам ничего не говорит это имя?

— Что-то такое припоминаю смутно… Кажется, о нем, о его опытах что-то писали…

— Да. Писали. И весьма любопытные вещи. Во всяком случае, я не сомневаюсь, что след Джимми Брауна из тюремной камеры ведет прямо туда. И я сейчас еду к Клейсту. Я уже договорился с ним о встрече.

— Что же вы ему скажете?

— Я не скажу. Я уже сказал. Я сказал, что намереваюсь писать об его институте, хочу взять у него интервью. Он был счастлив. — Гринвуд быстро взглянул на часы. — Мне пора, Юджин. Он уже ждет меня.

Профессор Клейст оказался весьма пожилым, жизнерадостным человеком. Седые, уже изрядно поредевшие волосы его были с аккуратной старательностью зачесаны на прямой пробор, и сквозь них беззащитно просвечивала розоватая лысина. Рука его, которую он с энтузиазмом протянул Гринвуду, оказалась необыкновенно мягкой, почти женственно-нежной.

— Я крайне польщен вашим визитом, мистер Гринвуд, — сказал Герхард Клейст. — Я нисколько не преувеличу, если признаюсь, что не пропускаю ни одной вашей статьи. Так что в моем лице вы имеете самого верного вашего почитателя.

— Благодарю вас, профессор, — сказал Гринвуд. — Я тоже немало слышал о вас и о ваших поистине сенсационных работах.

— Надеюсь, мы не разочаруем вас, мистер Гринвуд. Я бы не хотел слишком преувеличивать заслуги нашего института, но и излишне скромничать на моем месте было бы фарисейством. Не так ли, мистер Гринвуд? Мы действительно добились кое-каких успехов, это признают теперь даже наши противники. К примеру, мы владеем искусством программирования личности.

— Чем? — переспросил Гринвуд, весь напрягаясь и стараясь не выдать этого своего напряжения.

— Искусством программирования личности. Для непрофессионального слуха это, может быть, звучит несколько непривычно, но это действительно так, и это одно из самых больших наших достижений. Сейчас я вам, разумеется несколько упрощенно, попытаюсь объяснить суть дела. Но прежде ответьте мне, мистер Гринвуд, что главным образом определяет мотивы вашего поведения?

— Ну… не знаю… — неуверенно ответил Гринвуд. — Скорее всего свойства моего характера… Желания… Различные

жизненные обстоятельства… Мало ли что еще…

— Все это так, все это так, мистер Гринвуд, но вы забыли назвать одну и притом, может быть, самую существенную вещь! Вы забыли назвать вашу память!

— Память?

— Ну да, разумеется! Разве не все то, что вы помните, что хранится в вашей памяти: события, люди, их характеры, обстоятельства встреч с ними, картины вашего детства, наконец, — разве не все это во многом определяет ваше поведение? Вы помните (я нарочно делаю нажим на этом слове), вы помните, что один человек вас некогда обидел, а другой помог вам продвинуться по службе, и вы, руководствуясь именно этой памятью, уже определяете свою линию поведения по отношению к этим людям; вы помните (я намеренно беру сейчас самые простые, самые пустяковые примеры), что некогда крупно проиграли в покер некоему мистеру Н., и вы непременно хотите взять у него реванш; вы помните, что мистер Х. своевременно не счел нужным вернуть вам долг, и в следующий раз вы, конечно, постараетесь больше не иметь с ним денежных дел. Разве не так? И разве не ваша память играет здесь главенствующую роль, говорит решающее слово? А теперь представим на минуту, что все то, что я перечислил выше, вы забыли, ни одно из этих сведений больше не хранится в вашей памяти, память ваша опустошена. Я прошу вас, мистер Гринвуд, обратить особое внимание на это сочетание слов: «память опустошена», дальше оно нам еще пригодится. Итак, представим себе, что память ваша больше не способна помочь вам в оценке окружающих людей, вы начисто забыли, что именно связывало вас с ними или разъединяло. Каким становится ваше поведение?

— Затрудняюсь сразу ответить… — сказал Гринвуд. — Вы меня, честно говоря, несколько ошеломили…

— Так я вам отвечу! — с нескрываемой гордостью воскликнул профессор Клейст. — В лучшем случае поведение ваше становится осторожно-нейтральным, так сказать, выжидающим. Но скорее всего вы будете пребывать в состоянии полной растерянности и неуверенности, ваша способность действовать будет парализована, вы окажетесь не в силах совершить какой-либо решительный поступок…

— Пожалуй, вы правы, — сказал Гринвуд, все с большим интересом и вниманием вслушиваясь в то, что говорил профессор.

— Теперь двинемся дальше, сделаем еще один шаг. Шаг, который разом меняет все дело. Попробуйте, мистер Гринвуд, еще раз призвать на помощь вашу фантазию и вообразите себе, что в

тот момент, когда память ваша опустошена, она замещается иной, скажем для простоты примера, прямо противоположной памятью. И вот вам уже кажется, — впрочем, слово «кажется» здесь, пожалуй, не совсем уместно, — нет, вам не кажется, вы просто уверены, вы точно помните, что тот самый, обидевший вас человек вовсе не обидел вас, а помог вам продвинуться по службе и наоборот — тот, кто помогал вам, представляется теперь вашим обидчиком; вы совершенно убеждены, что не мистер Н. выиграл у вас партию в покер, а вы крупно обставили его; наконец, вы точно помните, что мистер Х. вернул вам всю сумму сполна на добрую неделю раньше назначенного срока. Каким становится ваше поведение? Ну, тут ответ совершенно очевиден. Оно становится прямо противоположным тому, что было прежде. Вы попросту ведете себя уже как совсем иной человек. Вот мы и пришли к самому главному, мистер Гринвуд, к тому, ради чего я позволил себе прочесть вам эту небольшую лекцию. Память, и прежде всего память определяет поведение человека! Манипулируя памятью, меняя отдельные ее проявления или всю память в целом, мы и получаем возможность целенаправленно, я подчеркиваю, целенаправленно программировать поведение личности…

— Вы убедили меня, профессор, — сказал Гринвуд. — Все это действительно очень увлекательно. И все-таки мне кажется, я так и не сумел уяснить главного. Вот вы говорите: заменить память… Но разве это не из области фантастики? Неужели такая операция возможна?

— Она не только возможна, мистер Гринвуд, — раздельно выговаривая каждое слово, произнес Герхард Клейст, — она уже делается в нашем институте.

— Но как? Каким образом?

— Это несущественно. Ну что за разница, мистер Гринвуд, каким образом; важно, что она делается. А как именно — это уже чисто практическая сторона дела, черновая наша работа, это уже представляет интерес только для специалистов-профессионалов…

— И все-таки мне трудно поверить. Ну, пересадка сердца, почек, это я все понимаю. Но заменить память… Заставить человека помнить то, чего с ним никогда не было, чего он не переживал… В это, согласитесь, трудно сразу поверить…

— Почему же? — спокойно возразил Клейст. — Стереть прежнюю память, опустошить ее — в этом, как я уже говорил вам, сегодня для нас нет проблемы. Правда, это не самая приятная процедура для наших пациентов: дело, к сожалению, не обходится без электрошока и применения сильных наркотических средств, но что поделаешь… Зато можно добиться блестящих результатов: человек полностью забывает, кто он, где он, что с

ним происходит… Полностью. Память его чиста, как память новорожденного. Итак, первая часть задачи выполнена. Ну а что касается второй части нашей задачи, то отчего же она кажется вам такой уж невероятной? Разве в нашей обычной, повседневной жизни мы с вами сплошь и рядом не помним того, чего с нами никогда не было, да чего и в жизни-то никогда вообще не происходило? Разве в нашу память сплошь и рядом не вводятся иллюзорные картины, которые иной раз мы храним еще даже лучше, прочнее, чем картины реальной жизни? Вы читаете роман, вы смотрите кинофильм, вы включаете телевизор, и разве преподносимые вам, выдуманные события не оседают в вашей памяти, не влияют на ваш образ мыслей, на ваши привычки, не диктуют вам в какой-то степени ваше поведение? Но все это накладывается на ваш предыдущий опыт и становится лишь малой частицей вашей памяти. Ну а если мы имеем дело с человеком, у которого память полностью стерта, тогда все впечатления, сведения, образы, которые мы ему преподносим, становятся для него первыми, главными, основополагающими. Именно они отныне будут определять его поведение. Вот вам и решение проблемы. Этот процесс мы и называем целенаправленным программированием личности. Конечно, мы применяем и свои, чисто специфические методы, но суть одна. Одним словом, мы стоим на пороге великих перемен, мистер Гринвуд! Управление психикой человека, программирование поведения отдельной личности, а затем и целого общества, — вы представляете, мистер Гринвуд, какие перспективы открываются за всем этим?

— Да, — сказал Гринвуд. — Представляю. И все-таки признаюсь: подобные перспективы не могут не пугать.

— Бросьте, мистер Гринвуд! Человек нуждается в том, чтобы им управляли. И мы готовы помочь ему в этом. Над входом в наш институт с полным основанием можно было бы начертать: «Решись переступить этот порог, и ты выйдешь отсюда обновленным человеком!»

На минуту Гринвуд представил себе, как захлопнулись двери институтской клиники за Джимми Брауном. Каким образом удалось заманить его сюда? Угрозами? Лживыми обещаниями? Деньгами?

— И много ли таких, кто ищет у вас обновления? — стараясь придать своему вопросу шутливый оттенок, спросил Гринвуд. — Конечно, если мой интерес переходит границы дозволенного, вы можете не отвечать. Я понимаю: врачебная тайна и все такое прочее…

— Мистер Гринвуд, я тоже понимаю: если журналист вашего

класса захочет что-нибудь узнать, он все равно узнает, — в тон ему отозвался Клейст. — Поэтому я отвечу так: мы не испытываем недостатка в клиентах. Надеюсь, вас устраивает такой ответ?

— Вполне. Однако ваши исследования, доктор Клейст, вероятно, требуют немалых затрат, — сказал Гринвуд. — Не сдерживает ли это осуществления ваших планов?

— Слава богу, нет, — сказал Клейст. — Нам было бы грех жаловаться. К счастью, в нашей стране еще есть люди, готовые бескорыстно помочь науке.

— Например? Мне бы, естественно, хотелось воздать должное этим людям.

— Назовите фонд Миллера, и этого будет достаточно, — сказал Клейст.

— Благодарю вас, профессор. Все, что я узнал, необычайно интересно. Надеюсь, мы еще встретимся.

Гринвуд поднялся, протягивая руку профессору Клейсту.

— Да, вот еще один вопрос, профессор, чуть не забыл. Вы не помните, у вас не было пациента по фамилии Браун? Джимми Браун.

На мгновение лицо профессора словно застыло, несколько секунд он смотрел на Гринвуда жестким, оценивающим взглядом. Но тут же глаза его снова засветились добродушной улыбкой.

— Ну как же! — воскликнул он. — Джимми Браун! Это тот самый субъект, что стрелял в президента? Я не сразу сообразил, о ком это вы. Джимми Браун. Да, он был нашим пациентом. Его доставили к нам, кажется, прямо из тюрьмы. Если не ошибаюсь, тяжелая форма шизофрении. Маниакальная идея убийства президента. Кстати, знаете, это уже не первый случай. Прямо какое-то национальное бедствие: каждый сумасшедший считает своим долгом палить в президента. Мы пытались лечить его, но, как видите… — Профессор Клейст развел руками. — К сожалению, и наша наука не всесильна. Впрочем, если вас интересует этот пациент, я могу распорядиться, сейчас принесут историю болезни…

— Нет, благодарю вас, профессор, это я так, к слову, — сказал Гринвуд.

— Ну и прекрасно! От таких дел действительно лучше держаться подальше. Запомните это, мистер Гринвуд, — сказал профессор Клейст, с жизнерадостной наглостью улыбаясь Гринвуду и пожимая его руку своей мягкой, женственно-нежной кистью.

— Ну что же, Юджин, можно подводить итоги. Знаете, как я назову свою статью? Я назову ее «Операция „Торпеда“». Я опишу в ней все, что произошло с Джимми Брауном. Теперь мы уже можем

достаточно точно воспроизвести эти события. Его отвезли в институт Клейста, возможно под предлогом необходимости медицинского обследования, возможно пообещав деньги за услуги, которые он окажет институту. Так или иначе, но он оказался в институтской клинике. Они правильно рассчитали, что судьбой его никто не будет интересоваться. Им нужен был именно такой человек.

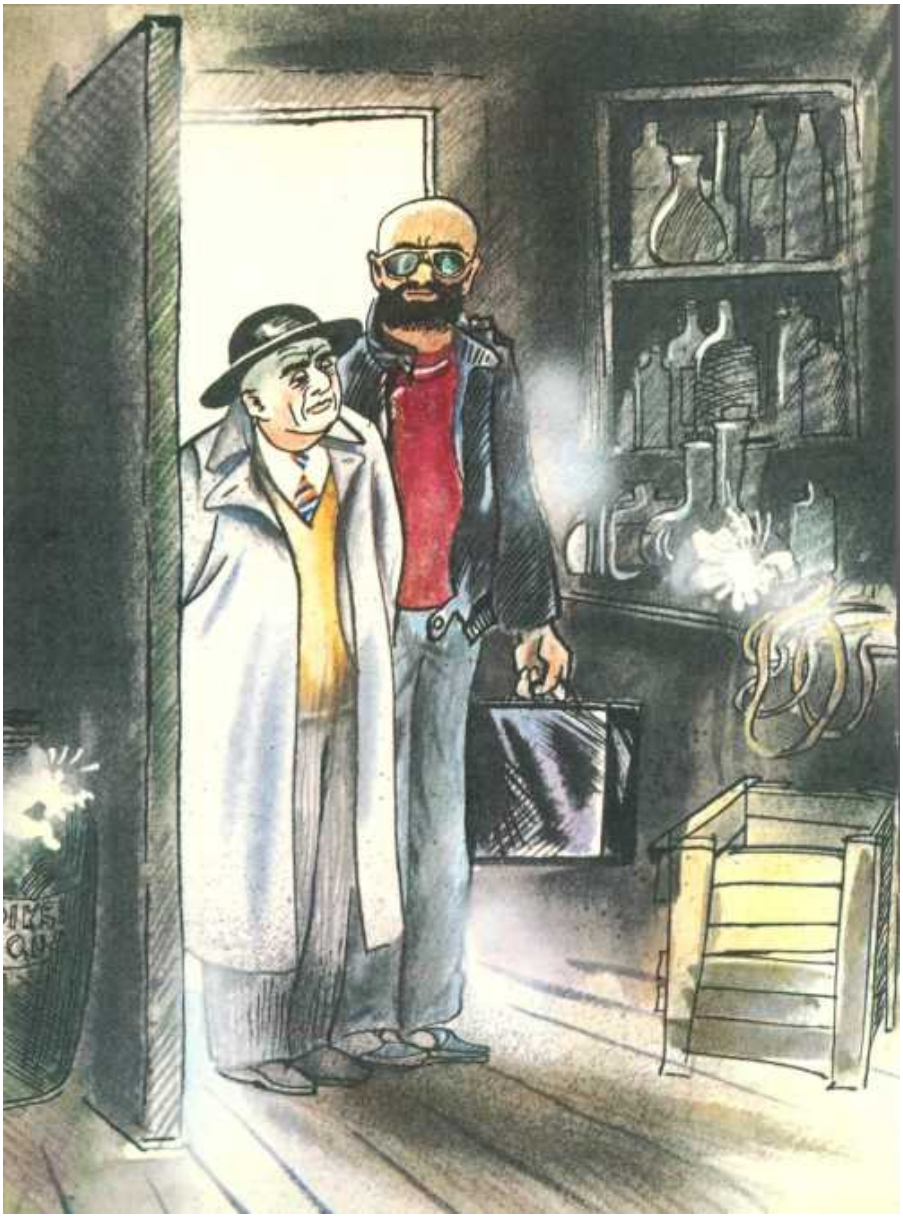
— Кому им? — спросил Юджин.

— Это нам еще предстоит выяснить. Но догадаться не так уж сложно. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Профессор Клейст, он, разумеется, лишь исполнитель. Ему предстояло превратить Джимми Брауна в человека, одержимого идеей убийства президента. И он это сделал. Память Джимми Брауна была опустошена, стерта. «К сожалению, это не очень приятная процедура для наших пациентов, — сказал мне сегодня профессор Клейст, — приходится применять электрошок, но что поделаешь…» Итак, Джимми Браун вынес эту процедуру и лишился памяти. А дальше изо дня в день, изо дня в день ему внушали, какое тяжкое оскорбление некогда, еще в юности, нанес ему будущий президент. Ему твердили об этом в наушники, ему показывали кинокадры со всеми унизительными подробностями, разумеется, сфабрикованными, его подвергали электрогипнозу. И когда наконец двери клиники снова распахнулись перед Джимми Брауном, в его мозгу не было иных мыслей, иных желаний, иных побуждений, кроме одного-единственного: убить президента! Да, отныне Джимми Браун был свободен, но он больше не был Джимми Брауном. Теперь это была торпеда, самонаводящаяся торпеда, неуклонно идущая к цели. Вот, Юджин, и вся история. Теперь остается лишь засучить рукава и сесть за пишущую машинку. Все-таки мы с вами молодцы, Юджин!..

На следующий день Артура Гринвуда нашли мертвым. Он сидел в своем рабочем кресле, уронив голову на письменный стол, рядом с пишущей машинкой. Врачи установили, что он умер от сердечного приступа. Никаких признаков насильственной смерти обнаружить не удалось. Правда, не удалось обнаружить и рукопись статьи. Однако когда Юджин Макклоу обратил внимание агентов из бюро расследований на это обстоятельство, ему было сказано, что вероятнее всего мистер Гринвуд попросту не успел написать ни строчки. Что ж, возможно, так и оно и было.

Контракт

уис работал в своей лаборатории (если только ту клетушку, ту комнатенку, ту конуру, что выделили ему на задворках университета, можно было назвать лабораторией), когда кто-то с уверенной настойчивостью постучал в дверь, и едва Луис крикнул: «Да, войдите!» — на пороге возник доктор Джеймс. Луис сразу узнал его, хотя поверить в то, что доктор Джеймс, сам доктор Джеймс может оказаться здесь, было невероятно трудно, почти невозможно. От неожиданности и удивления Луис, кажется, забыл поздороваться. Но доктор Джеймс не обратил на это внимания. Он был не один. За его спиной возвышался широкоплечий человек, которого с одинаковой степенью вероятности можно было принять и за молодого ученого, и за профессионального спортсмена. На нем была легкая куртка, джинсы и солнцезащитные очки. Кажется, никогда раньше Луису не приходилось встречаться с этим человеком. Впрочем, все это Луис отметил как бы мимоходом, боковым зрением, все его внимание было сосредоточено на докторе Джеймсе. Еще там, за океаном, где семь лет учился и работал Луис, прежде чем вернуться к себе на родину, он хорошо знал о том ореоле славы, известности, даже величия, который окружал имя доктора Джеймса. Последний раз они виделись во время торжественного выпускного акта, когда доктор пожал Луису руку и сказал несколько ничего не значащих слов. В общем-то, они никогда и не работали вместе, точнее, Луису никогда не доводилось работать под непосредственным руководством доктора Джеймса, и Луис даже не был уверен, что этот человек, знаменитый ученый, отягощенный десятками забот и обязанностей, может помнить его. И потому столь неожиданным, фантастичным выглядело его появление здесь, в этой маленькой, жалкой лаборатории.



— Я понимаю, вы удивлены, — сказал доктор Джеймс. — Однако у меня мало времени, и потому давайте без лишних эмоций перейдем сразу к делу. Не стану утверждать, что я приехал сюда, в вашу страну, лишь для того, чтобы встретиться с вами, вы все равно не поверите в это, но тем не менее программа моего пребывания здесь изначально включала встречу с вами, моим бывшим учеником. Я могу ведь считать вас своим учеником, а, Луис?

— Я буду только польщен этим, доктор, — сказал Луис.

— Не стану скрывать, Луис, мы давно уже присматривались к вам. Такие люди, как вы, нужны нам. Одним словом, я пришел сюда, чтобы предложить вам контракт. Вы будете работать в моей лаборатории. Ну? Что вы скажете?

— Это… это так неожиданно… — пробормотал Луис.

— Скажу сразу: у контракта, который мы предлагаем вам, есть некоторые особенности. Вы должны знать их. Первое: контракт заключается на пять лет. Второе: в течение действия контракта вы не будете иметь права покидать не только пределы нашей страны, но и пределы лаборатории или, точнее говоря, пределы научного городка, где будете жить и работать…

— Это немножко напоминает тюрьму… — засмеялся Луис.

— Скажите лучше: башню из слоновой кости, — тут же откликнулся доктор Джеймс. — Но разве любой ученый не мечтает об уединении, о максимальной сосредоточенности?.. И разве истинный ученый не мечтает о том, чтобы быстрее прийти к вершине, к пику своей формы, если это перевести на язык спорта. Мы дадим вам такую возможность.

Только теперь Луис спохватился, что так и не предложил своим гостям сесть. Он торопливо, с извинениями придвинул им две круглые табуретки.

Джеймс и его спутник сели.

— Простите, доктор Джеймс, — сказал Луис, — могу ли я задать вам один вопрос?

— Разумеется, можете, — сказал доктор Джеймс и засмеялся. — Но это вовсе не значит, что я вам на него непременно отвечу. Так что вы хотели спросить?

— Я хотел спросить: почему именно я? Почему именно на меня пал ваш выбор?

— Что ж, на это я могу вам ответить. Только не думайте, что вы у нас — один-единственный. Вы — один из немногих, это верно. И мы, повторяю, давно приглядывались к вам. Я думаю, мы знаем о вас даже больше, чем вы о себе. Не так ли, Анри? — Доктор Джеймс впервые обратился к своему молчаливому спутнику, и тот кивнул, засмеявшись.

— Нет, нет, не смущайтесь, Луис, — торопливо сказал доктор. — Речь не идет о вашей личной жизни, речь идет только о научной работе, только о научной работе. Видите ли, может быть, это прозвучит банально, но мы не можем себе позволить тратить деньги впустую. А вы, надеюсь, догадываетесь, что те условия, которые мы вам готовы предоставить, стоят немалых затрат. Поймите, Луис, мы ведь тоже берем на себя обязательства, и контракт гарантирует вам возможность наиболее полного, наиболее максимального развития ваших способностей, ваших

склонностей, вашего таланта, наконец! И это не пустые слова! Мы действительно это гарантируем. Я понимаю: обречь себя на пять лет добровольного затворничества — это не просто, но учтите: тот, кто приходит к нам, обладая способностями, через два года становится талантлив, тот, кто приходит, имея за душой талант… Нет, я не стану уверять, что такой человек превращается в гения, но что в его работах, в его идеях появляются проблески гениальности — это несомненно!

— Я бы согласился… я бы согласился сейчас, сразу, не раздумывая ни секунды, — сказал Луис, — если бы не одно личное обстоятельство, впрочем, оно не должно вас касаться… Слишком заманчиво ваше предложение, я благодарен, что вы вспомнили обо мне… Но скажите, доктор, все то, о чем вы сейчас говорили, не кажется ли вам слишком фантастичным?.. Или вы обладаете каким-то секретом? Но каким? Мне бы хотелось это знать, прежде чем я скажу «да».

— Мы не обладаем секретом, — сказал доктор Джеймс. — Просто мы обладаем теми возможностями, которыми не обладают другие. Только и всего.

— Вы не сердитесь, доктор, — проговорил Луис, — но мне все-таки нужно подумать, посоветоваться…

Доктор Джеймс сочувственно покивал.

— Я понимаю. Пять лет — это, что ни говорите, пять лет. Однако знайте: вы ничем не рискуете. Еще одна особенность нашего контракта состоит в том, что вы в любой момент можете его аннулировать и вернуться на родину. Вас не станут удерживать и не заставят платить неустойку. Но скажу вам правду: еще ни один человек не покидал нас по собственной воле до окончания контракта…

— Вы говорите так, — усмехнулся Луис, — словно соблазняете меня продать душу дьяволу.

— Ну отчего же дьяволу? Науке! Только науке!

— Простите, доктор, я пошутил. Наверно, это была не самая удачная шутка. Но все так неожиданно, что тут поневоле растеряешься. Мне просто трудно поверить… Наверно, это очень смешно и даже глупо с моей стороны — еще колебаться, раздумывать о чем-то… Но что скажут мои друзья? Я ведь не для того учился там, у вас, все эти годы, чтобы снова покинуть свою страну. Есть ли у меня право…

— Бросьте, Луис, — сердито оборвал его доктор Джеймс. — Я понимаю: патриотизм, долг перед родиной — с этим нельзя не считаться. Но подлинная наука едина, она не знает границ. Мы, если хотите, служим не стране, не народу, мы служим человечеству. И сравните, что вы можете здесь, — доктор Джеймс

быстрым взглядом окинул крохотную лабораторию, — и что вы сможете там, у нас… А в конечном счете все идет в общую копилку. Если вас удерживает только это, я бы на вашем месте не стал сомневаться.

— Прислушайтесь к совету доктора Джеймса, молодой человек, — неожиданно сказал молчавший до сих пор спутник доктора. — Поверьте, на свете немного найдется счастливчиков, с которыми доктор разговаривал бы подобным образом!

— Да что вы уговариваете меня! — воскликнул Луис. — Неужели вы думаете, будто я не понимаю, что такой выигрыш выпадает раз в жизни?! Не понимаю, что для меня нет большей чести, чем работать с вами, под вашим руководством, доктор?! Что десятки куда более именитых ученых, чем я, мечтают об этом?! И неужели вы хоть на минуту предполагали, что я смогу отказаться? Но… Если бы не это «но»…

— Хорошо, — сказал доктор Джеймс, вставая. — Мы ждем до завтра. Завтра вы найдете меня в отеле «Виктория». И скажете о своем решении. Я надеюсь, решение это будет разумным. — И, уже пожимая руку Луису, добавил: — Мне нравится, что у вас есть характер. И я ценю вашу привязанность к родине. Но наука — жестокое чудовище, она не признает половинчатости, она требует всей жизни. Или — или. Третьего не дано. Если, разумеется, вы намерены достичь в науке чего-то существенного…

С этими словами доктор Джеймс вышел из лаборатории. Его спутник все так же молча последовал за ним. И только когда гости ушли, Луис сообразил, что следовало бы проводить их. Хорошенького же мнения будет о нем доктор Джеймс! Однако сейчас Луису было не до того, чтобы корить себя за допущенную оплошность. Он торопливо отключил приборы, с которыми возился до прихода неожиданных гостей, закрыл лабораторию и бросился к телефону.

* * *

Они встретились в маленьком кафе на набережной океана.

Волнуясь, Луис сбивчиво рассказывал Марии о нежданном визите, о предложении, которое сделал ему доктор Джеймс. Мария слушала его с напряженным вниманием, румянец выступил на ее щеках, восторженность в ее глазах сменялась тревогой, и тревога — снова восторженностью.

— Я всегда верила, что тебя ждет большое будущее, — сказала она, едва Луис замолчал. — Поезжай, Луис, поезжай. Не

сомневайся. Это судьба, это счастливый случай, больше такого не повторится.

— А ты? Как же ты, Мария?

— Я? Я буду ждать. Пять лет пролетят быстро, вот увидишь. Я буду ждать и мечтать о том дне, когда ты вернешься.

— Я знал, что ты так скажешь.

Он притянул ее руку к губам и поцеловал.

— Я знал. И все-таки мне горько…

— Ты вернешься знаменитым человеком, великим ученым, твои работы будут известны во всем мире… Разве за это не стоит заплатить пятью годами ожидания? Он ведь не обманывает тебя, правда?

— Кто? Доктор Джеймс? — Луис усмехнулся. — Нет конечно. У него мировая слава и мировая известность. Я не знаю, как ему это удается, но идеи, которые выходят из его лаборатории, опережают время, он и его ученики словно умеют заглядывать в будущее, предчувствовать его… Их работы в области излучений…

— Ну вот видишь, ты уже весь там… — печально улыбаясь, сказала Мария. — Тебя уже нет здесь.

— Подумать только! Если бы вчера мне сказали, что Джеймс, сам великий Джеймс… Разве бы я поверил?..

— А что тут удивительного? Ты талантлив, это все знают. Ты вот только что сказал: «Не знаю, как ему это удается…», а может быть, весь секрет как раз в том, что он умеет находить талантливых людей, что он их ищет, что он готов пролететь тысячи километров и войти в жалкую, как ты говоришь, лабораторию, чтобы найти того, кто ему нужен…

— Да, да, верно, ты очень верно сказала: «того, кто ему нужен…» «Того, кто ему нужен…» — задумчиво повторил Луис.

— Не надо усложнять, милый… — сказала Мария. — Уж кому нужно бы печалиться, так это мне. А я не печалюсь. Я рада за тебя.

— Ты говоришь так, чтобы подбодрить меня, я же вижу, — сказал он. — Чтобы укрепить и подбодрить…

— Луис, милый! Я понимаю, тебе не дает покоя долг перед родиной, перед народом. Ты выучился, приехал, тебя ждали, и вот теперь ты снова готов сбежать… Тебе именно так рисуется эта картина, не правда ли?

Он кивнул.

— Да, это действительно тяготит меня.

— Но попытайся рассудить здраво: через пять лет ты возвратишься сюда в расцвете сил, ты будешь полон энергии, у тебя за плечами будет опыт работы в лабораториях Джеймса…

Разве тогда ты не будешь еще более ценен и необходим своей стране, чем сейчас? Разве в итоге страна не окажется в выигрыше? Так что же тут сомневаться? За что казнить себя?

— В этом действительно есть логика, — сказал Луис. — Ты права.

— Ну вот видишь! — обрадованно воскликнула Мария. — А что касается меня, так, может быть, тебе все-таки когда-нибудь удастся хоть ненадолго вырваться сюда, может быть, ты сумеешь уговорить Джеймса… Что в этом такого?..

— Нет. — Луис отрицательно покачал головой. — Я думаю, нет. На это нельзя рассчитывать.

Мария капризно передернула плечами.

— Фу! Почему такие строгости! Я не понимаю! Говорят, все большие ученые — ужасные самодуры. И твой Джеймс, наверно, тоже. Какая необходимость в том, чтобы ты не смел даже выйти оттуда?

— Хотел бы и я это знать… — сказал Луис. — Хотел бы…

— Так ты спроси Джеймса! Отчего ты сразу не спросил его? Или ты спрашивал?

Луис опять покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Я не спрашивал. Он бы все равно не ответил. Или бы сказал неправду. А зачем вынуждать человека говорить неправду?

— Ладно, не ломай голову, — сказала Мария. — Все равно, что бы там ни было, а я очень горжусь тобой. Очень, очень. И ты всегда это должен помнить.

— Хорошо, — улыбаясь и на мгновение прикрывая глаза, сказал Луис. — Я буду помнить.

На другой день в отеле «Виктория» Луис Мориолло, ассистент, 27-летний, подающий надежды ученый, подписал контракт, согласно которому становился сотрудником лаборатории доктора Джеймса сроком на пять лет. При подписании контракта сам доктор Джеймс не присутствовал, его интересы представлял молчаливый человек в солнцезащитных очках и спортивной куртке.

А еще через неделю Луис покинул родной город, с тем чтобы вернуться обратно спустя пять лет. На аэродроме его провожала Мария и двое давних — еще школьных — друзей. В тот день светило яркое солнце, и Марии приходилось заслоняться ладонью, чтобы увидеть, как Луис, высокий, худощавый, легко взбегает по самолетному трапу, как ветер шевелит его волосы, как чуть запрокидывает он голову, чтобы в последний раз оглянуться на тех, кто пришел проводить его…

* * *

Когда Мария, бодрясь, пытаясь успокоить Луиса, уверяла его, будто пять лет пролетят быстро, и не заметишь, она, конечно, кривила душой и сама не очень-то верила в то, что говорила. И все же она не могла предположить, что эти годы будут тянуться для нее с такой долгой и тоскливой томительностью. Время от времени она получала от Луиса, нет, даже не открытки, не письма, а скорее теле- или радиограммы, из которых явствовало, что он жив, здоров, помнит и любит. Мария хорошо знала его характер, знала, что, когда он увлечен работой, никто и ничто не может заставить его сесть и написать обстоятельное письмо. Так что спасибо и за эти торопливые строчки. Однажды в своем письме она все же заикнулась о том, что очень скучает и не мог ли бы он все-таки выбраться пусть даже на самое ничтожно короткое время? Он ответил так же лаконично, как и прежде: «Исключено». И она поняла: значит, действительно исключено, и больше уже не возвращалась к этой теме.

Судя по всему, дела Луиса шли успешно. Даже очень успешно. Во всяком случае, нет-нет да и проскальзывало его имя в газетах, в телепередачах, в научно-популярных журналах, которые заботливо приносили Марии друзья Луиса. «Уравнение Мориолло», «гипотеза, которую выдвинул Луис Мориолло», «формула Мориолло»…

А между тем минул лишь второй год контракта.

«Это невероятно, — говорили друзья Луиса. — В это трудно поверить. Чтобы за два года человек, пусть он даже трижды талантлив, мог достичь столь многого… Это выше человеческих сил. И это ведь лишь то, что всплывает на поверхность, до чего добираются журналисты, что становится известно. А наверняка есть еще и такое, что держится в секрете, что не выходит до поры до времени из стен лаборатории. Так что можно себе представить… Нет, нет, это не поддается никакому воображению…»

«Уж не хотите ли вы сказать, что Луис приписывает себе чужую работу, чужие открытия?» — обиженно спрашивала Мария.

«Нет. Но… Все это слишком фантастично…»

«Они говорят так, потому что завидуют Луису», — думала Мария. В душе она гордилась тем, что в свое время не помешала ему принять предложение доктора Джеймса и уехать. «Если бы я очень захотела, он бы, конечно, остался», — говорила сама себе Мария. И это утешало ее.

И все-таки иной раз тревога и тоска овладевали ею. Однажды ей приснился сон. Ей приснилось, будто они с Луисом стоят по

обе стороны пропасти и пропасть эта медленно, но неуклонно растет… Этот сон не то чтобы показался ей вещим, просто он очень точно выражал все, что она ощущала, чего страшилась. Чем чаще имя Луиса мелькало в газетах, тем страшнее становилось Марии. «Тот, кто поднимается вверх, невольно уходит, отдаляется от того, кто остается внизу» — такие мысли нередко одолевали Марию. «Что я ему теперь? Разве он не найдет теперь женщину, куда более достойную его?»

Марии казалось, что отчужденность между ними растет гораздо быстрее, чем идет время. Иногда она и сама пыталась убедить себя, будто постепенно становится равнодушна к нему. Но стоило ей только услышать его имя или произнести его самой, мысленно, как волнение охватывало ее и она понимала, что любит Луиса по-прежнему, а может быть, и еще больше, чем прежде…

Хоть и медленно, но время шло, двигалось, и чем ближе становился срок истечения контракта, тем сильнее тревога и страх овладевали Марией. Ей казалось, что в самый последний момент непременно должно случиться что-то такое, что помешает возвращению Луиса. Слишком долго, мучительно долго ждала она этого дня, чтобы поверить, что он действительно наступит.

Однако день этот все-таки наступил.

Если пять лет назад ярким солнечным утром Луиса провожали всего три человека, то теперь в аэропорт набилась целая толпа встречающих. Многим, кто хоть самую малость знал Луиса Мориолло, кто перекинулся когда-то с ним двумя-тремя словами, кто сыграл с ним партию в шахматы или пинг-понг, теперь непременно хотелось быть причастными к этому событию — возвращению знаменитого ученого в родные пенаты. Были здесь, разумеется, и просто зеваки, любители разного рода зрелищ, будь то проводы или встречи, похороны или юбилейные торжества, были и школьники-подростки, никогда прежде не видевшие Луиса Мориолло, но горевшие теперь желанием пойти по его пути, достичь тех же вершин славы, которых достиг он. Над толпой подростков колыхались самодельные приветственные плакаты и портрет Луиса. На портрете Луис был изображен в точности таким, каким видела его Мария пять лет назад здесь, в аэропорту: он улыбался и глаза его светились надеждой и радостной уверенностью…

Когда радиоголос, разносившийся под сводами здания аэропорта, возвестил, что пассажирский самолет, с которым ожидался и Луис Мориолло, прибыл, толпа встречающих заволновалась, задвигалась и Марию оттеснили в сторону, но все же ей удалось пристроиться так, чтобы хорошо видеть тот проем,

откуда должны были появиться прилетевшие пассажиры. От духоты ли, от волнения ли сердце ее билось неровно и часто, отчаянными короткими толчками. Ладони ее вспотели, и лицо горело. Неужели в таком виде, в таком состоянии она и предстанет сейчас перед Луисом? Ей стало не по себе.

Но в этот момент сквозь дверной проем, закрытый бамбуковым, сухо позванивающим занавесом, начали выходить первые пассажиры. И Мария вся превратилась в зрение. Раньше она думала, что это только для красоты так пишут в книгах. Как это вдруг можно превратиться в зрение? Но теперь она сама испытала это. Не было больше ни вспотевших ладоней, ни горящих щек, ни отчаянно бьющегося сердца, ни духоты, ни толпы — ничего, было только зрение, обращенное туда, откуда должен был появиться Луис…

Однако его не было. Несколько раз, завидев высокую, худощавую фигуру, Мария вздрагивала, но тут же убеждалась, что ошиблась. Добрая сотня пассажиров прошла уже через зал прилета, поток этот уже начинал редеть, прерываться, а Луис все не появлялся.

И вдруг, похолодев, Мария ясно почувствовала, что он так и не появится. Сбылись ее худшие опасения. Что-то произошло. Что-то удержало его там, за океаном, какие-то силы не дали ему вернуться.

Вот уже последняя из прибывших, одутловатая старуха, прихрамывая и переваливаясь с ноги на ногу, проковыляла к выходу.

Некоторое время толпа еще ждала, потом начала расходиться.

Мария продолжала стоять, не двигаясь с места. Не потому, что на что-то еще надеялась, а оттого лишь, что слабость, как после приступа лихорадки, охватила ее. Рядом несколько подростков сворачивали плакат, на котором большими зелеными буквами было начертано: «Луис Мориолло! Сограждане приветствуют вас!»

— Ты не узнаешь меня?

Мария вздрогнула и обернулась на голос. Возле нее стоял худой, высокий старик. Летний светлый костюм казался на нем слишком просторным. Старик опирался на тяжелую трость с набалдашником.

Лицо его было морщинистым, кожа под глазами набрякла и обвисла, а на голом, загорелом черепе едва колыхался слабый пушок. И только в глубоко запавших, по-старчески выцветших глазах чуть светилась некогда так хорошо знакомая Марии усмешка.

Марии показалось: сейчас она потеряет сознание. Все вокруг как бы поплыло, и начал сгущаться сумрак. Потом она опять услышала этот голос:

— Меня и правда трудно узнать.

Мария хотела ответить, но спазм перехватил горло.

— Боже, что они с тобой сделали! — наконец произнесла она шепотом. — Что они с тобой сделали!

— Пойдем отсюда, здесь душно, — сказал он.

Они вышли из здания аэропорта и сели на ту же самую скамейку, на которой сидели пять лет назад, перед тем как проститься. Получилось это случайно или нет, Мария не знала. Да и не до того ей сейчас было.

— Ну вот я и вернулся, — сказал старик.

— Боже, что они с тобой сделали! — повторила Мария. — Что они с тобой сделали!

— Вот я и вернулся в ореоле славы и известности, — продолжал он, словно бы и не слыша ее. — В ореоле… Разве не так?

— Ты смеешься надо мной? — Мария всхлипнула.

— Нет, отчего же… — сказал он. — Ведь это правда, это действительно так.

— Но что с тобой? Ты был болен? Ты болел?

— Нет. Я работал.

— Но я не понимаю… Да объясни ты, ради бога, что произошло! — Ее голос сорвался.

— Я объясню. Но это уже ничего не изменит. — Он усмехнулся. — Дело в том, что мы не только работали, мы были еще и подопытными кроликами.

— Но разве…

— Подожди, не перебивай меня. Помнишь, я как-то говорил тебе, что Джеймс и его сотрудники пытаются получить излучение, которое стимулировало бы работу мозга, активизировало бы, убыстряло бы ее в десятки раз? Так вот, они создали это излучение.

— И значит, вы…

— Да, мы работали под его воздействием. Мы жили в зоне этого излучения. Постоянно. Изо дня в день. Вот почему по контракту нам запрещалось покидать городок.

— Но это же ужасно! И вы не знали об этом? Не догадывались?

— Нет, почему же… — И опять усмешка пробежала по морщинистому лицу. — Я догадался об этом очень скоро.

— Но тогда… тогда… — Мария вглядывалась в его лицо, словно бы пытаясь понять что-то очень важное для себя и не

понимая. — Значит, вас обманули? Ведь Джеймс говорил… Говорил, что ты можешь порвать контракт в любую минуту… Значит, он лгал? Тебя держали насильно?

Старик, сидящий рядом с Марией, покачал головой.

— Нет, меня не держали. И доктор Джеймс не обманул меня. Я действительно мог уехать каждую минуту.

— Но почему… почему тогда ты не уехал? Почему не бросил все, не бежал, как только стал догадываться?.. Нет, я не верю! Тебя принуждали, тебя шантажировали!

— Нет. — Он хрипло, по-стариковски рассмеялся. — Нет, говорю тебе, нет. Расчет Джеймса оказался хитрее и проще. И он не ошибся. Ему нельзя отказать в дальновидности.

— Он все-таки обманул вас…

— Нет. Видишь ли… Я не знаю, как это объяснить точнее… Но понимаешь ли, когда передо мной открылась вдруг эта возможность — работать за пределом собственных сил… мыслить с удесятеренной энергией… когда я мог за один день сделать то, на что в другой раз мне бы понадобились недели… когда перед моим мысленным взором открывались такие неизведанные кручи и такие вершины… Мог ли я от всего этого отказаться?.. Между прочим, Джеймс был прав: ни один человек из тех, кто работал со мной, не порвал контракт, не уехал по собственной воле…

— Джеймс попросту выжал вас… Вы отдали ему все! Ты понимаешь: все! — Мария почти кричала, и возле них уже начали собираться люди. — Боже, что он с тобой сделал!

Старик устало прикрыл глаза.

— И все равно это стоило пережить, — сказал он.

Мария вздохнула и погладила его руку. Кожа на руке была совсем стариковской — сухой и глянцевитой.

И в этот момент возле них раздался громкий голос.

— Да вот он — Луис Мориолло! Что вы мне голову морочите, говорю — это он, собственной персоной! — кричал таможенный чиновник. — Он и зарегистрирован как Луис Мориолло!

«Луис Мориолло… Луис Мориолло…» — словно бы эхом отдавалось в разных концах аэропорта. К скамейке, на которой сидели Мария и Луис, со всех сторон уже сбегались репортеры.

Дарующий Счастье

эту далекую страну, в этот огромный город, раскинувшийся на берегу океана, я попал впервые, и оттого многое здесь казалось и притягательно интересным, и непривычным, а то и попросту не очень понятным. Я приехал сюда туристом, но, откровенно говоря, чисто туристическое времяпрепровождение с обязательным посещением пустынных музеев и аккуратных развалин, с осмотром памятников президентам и полководцам, которых мало кто уже помнил, утомляло и тяготило меня. От музейных экспонатов веяло холодом и неподвижностью. Жизнь здесь казалась застывшей раз и навсегда. И потому всякий раз, когда это представлялось возможным, я отправлялся бродить по улицам города, заглядывал в маленькие кафе и магазины, всматривался в лица людей, вслушивался в их голоса, пытаясь понять, почувствовать чужую для себя жизнь. Тем более что туристские проспекты сообщали об этой жизни немало любопытного. «В нашей стране, как нигде больше, царят гармония и мир, ибо мы исходим из принципа, что каждый человек имеет право на свою долю счастья…» И порой мне начинало действительно казаться, что жизнь здесь, в этом городе, и правда идет по каким-то своим, неуловимым для постороннего человека законам.

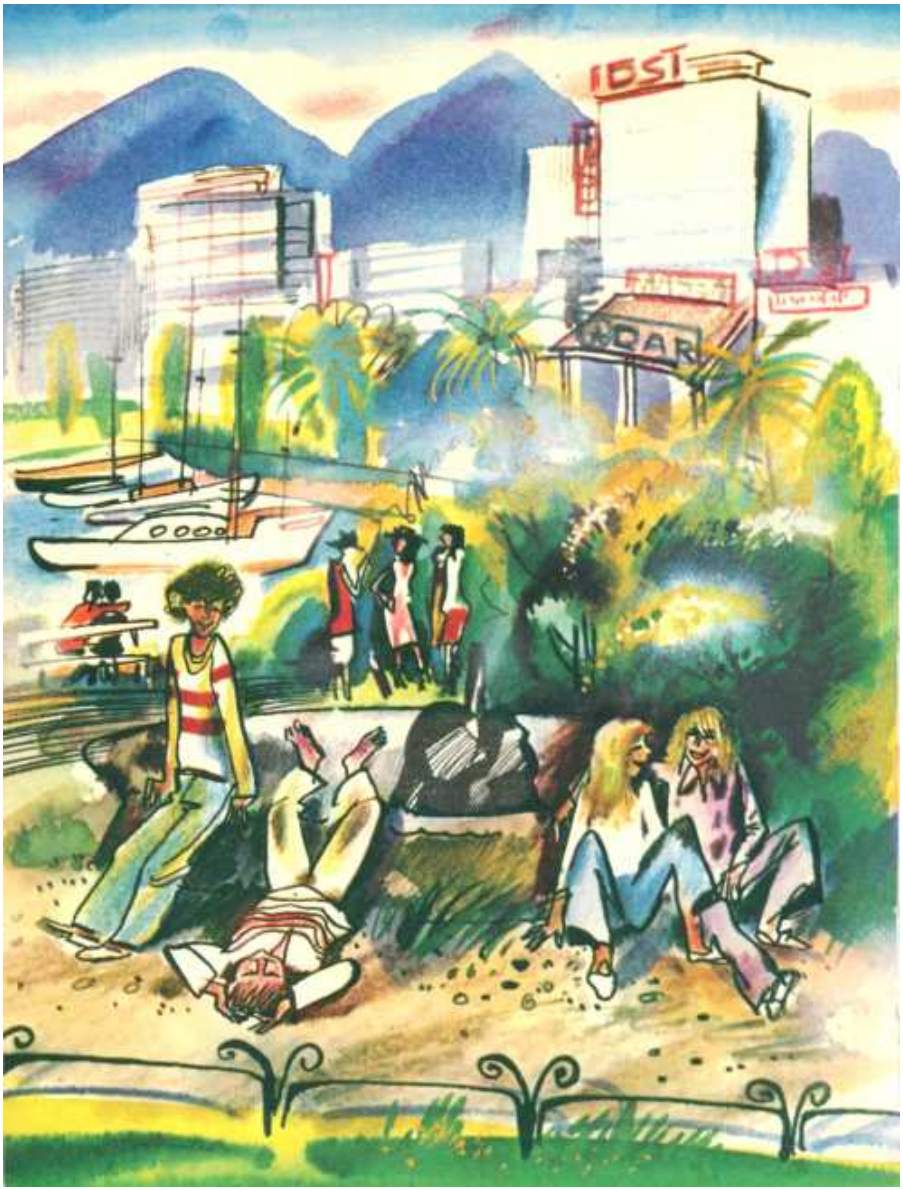
Однажды, например, в старой части города я забрел на небольшую площадь с неработающим фонтаном в центре. Вся площадь была заполнена людьми, они лежали и сидели прямо на теплых каменных плитах. Что они здесь делали, зачем собирались, я так и не понял, но меня поразило то, как странно

контрастировало выражение их лиц — отрешенно-блаженное — с изможденным видом, бедной одеждой. Собравшиеся здесь не были похожи на хиппи, скорее они напоминали людей, отдыхавших после тяжелой, изнурительной работы. Потом подобное же выражение я не раз встречал на лицах, мелькавших в толпе, в городских автобусах, в кафе на набережной…

Вечером городская набережная, протянувшаяся вдоль океана на добрых полтора десятка километров, начинала празднично полыхать огнями рекламы. Сияли вывески кафе и ресторанов, сверкали витрины магазинов, уютно светились холлы дорогих отелей, вспыхивали и гасли названия экзотических диско-баров и дансингов, которые вам предлагалось посетить, гремела музыка, мелькали, двигались, меняли окраску, разрастались до гигантских размеров и снова сжимались светящиеся фигуры, среди которых чаще всего повторялось одно и то же изображение: добродушный старик, похожий на Санта-Клауса, щедро высыпал из мешка то ли конфеты, то ли какие-то таблетки в разноцветных искрящихся обертках. Они прыгали, вращались, сталкивались друг с другом в хаотичном движении и вдруг складывались в светящиеся строки: «„ДС“ — величайшее изобретение века! Вы хотите быть счастливы? Нет ничего проще! К вашим услугам препарат „ДС“ — „Дарующий Счастье“!» Сверкающие слова, казалось, возникали прямо из воздуха и плыли над городом, на фоне темного неба.

«Дарующий Счастье».

Эти два слова преследовали меня повсюду.



Впервые я увидел их на огромном световом табло в здании аэровокзала. Потом они мелькали на бортах автофургонов, на фасадах домов, на тележках уличных торговцев, в холле отеля. «Пейте напиток „ДС“ — „Дарующий Счастье!“», «Употребляйте жевательную резинку „ДС“ — „Дарующую Счастье“!» Я покупал городскую утреннюю газету и обнаруживал, что через всю последнюю страницу наискосок крупными буквами начертан вопрос, обращенный, казалось, лично ко мне: «Вас одолели несчастья? Вас постигло горе? Принимайте препарат „ДС“, и Вы вновь будете счастливы!» Я включал телевизор, и передо мной

снова щедро встряхивал своим мешком бодрый старик, похожий на Санта-Клауса: «Препарат „ДС“ — величайшее изобретение века!»

Однажды, гуляя по набережной, я из любопытства купил тоненький пластик жевательной резинки «ДС». Кстати говоря, стоила она совсем недешево. У резинки был слабый земляничный аромат. Я принялся жевать ее, и вдруг ощущение радостной беспечности охватило меня. Только что я с беспокойством поглядывал на иссиня-темную тучу, застилавшую небо, рассчитывая, успею ли я добежать до отеля или нет, пока не хлынет дождь, а теперь я словно бы сразу забыл о том, что беспокоило меня. Я не спеша шел по набережной, любуясь тревожно потемневшим, покрытым белыми барашками волн океаном, и чувствовал, как улыбка, помимо моей воли, проступает на моем лице. По каменным плитам набережной забарабанили крупные капли дождя, потом дождь хлынул сплошным потоком. Случись это несколько минут назад, я бросился бы искать убежище, опасаясь, что мой светлый костюм намокнет и придет в полную негодность. Но сейчас я беззаботно шагал под дождем и продолжал улыбаться. Отчего? Почему? Я бы и сам не смог ответить на этот вопрос. Переходя набережную, за стеной дождя я не заметил стремительно надвигавшихся на меня автомобильных фар и чуть было не попал под автомашину. Однако в тот момент я не испытал ни потрясения, ни страха.

Резко затормозившую машину развернуло на мокром асфальте. Человек, сидевший за ее рулем, что-то показывал мне энергичными жестами, губы его яростно двигались, но я только улыбнулся ему в ответ. Вероятно, улыбка моя выглядела довольно бессмысленной, если не глупой, но об этом я подумал уже значительно позже. А тогда я безмятежно пошел дальше, все еще чувствуя во рту легкий привкус свежей земляники, нагретой солнцем, и все еще продолжая наслаждаться ощущением своей беззаботности. И вдруг это ощущение начало быстро слабеть и вскоре исчезло, схлынуло так же неожиданно и беспричинно, как и возникло.

Словно очнувшись, я увидел себя стоящим на набережной, под проливным дождем, в насквозь промокшем, потемневшем костюме. Картина, надо сказать, была весьма странная. Мимо по мокрому асфальту проносились легковые автомашины, и запоздалое чувство страха неожиданно сковало меня. Что же со мной было? Что произошло? Эйфория? Потеря чувства реальности? Я слышал, что нечто подобное случается с людьми высоко в горах и порой губит даже опытных альпинистов. Но то в

горах, от недостатка кислорода, а тут… Неужели весь секрет в жевательной резинке с запахом свежей земляники?..

Я поднялся к себе в номер, развесил костюм сушиться, натянул пижаму. В номере было светло и уютно, но беспокойство не оставляло меня. Необъяснимость того, что произошло со мной на набережной, тревожила меня. Мне стоило немалого труда заставить себя успокоиться и заснуть.

На другой день с утра наша туристская группа отправилась осматривать сталактитовые пещеры, и я, захваченный зрелищем причудливых подземных дворцов, сооруженных природой, их фантастического мрачного великолепия, постепенно стал забывать о вчерашнем происшествии. Новые впечатления постепенно вытесняли все то, что я испытал вчера, и, наверное, вся эта история так бы и не оставила заметного следа в моей памяти, если бы впереди меня не ожидала еще одна встреча. Это случилось в предпоследний день нашего туристского путешествия.

Вечером, по своему обыкновению побродив по набережной, я зашел в маленькое дешевое кафе. В кафе было тихо и безлюдно. Только за столиком в дальнем углу сидел пожилой человек и то ли читал развернутую газету, то ли попросту дремал над ней. Я заказал чашку черного кофе и сел за соседний столик.

На плоском телевизионном экране, висевшем на стене возле стойки бара, беззвучно, с одной и той же последовательностью сменялись рекламные слайды. Вот уже знакомый мне Санта-Клаус вытряхивает из мешка конфеты в разноцветных обертках, вот он же, только уже в облике профессора в очках и белом халате, протягивает рецепт и радостно пожимает руку своему пациенту… Я уже знал, какие слова появятся вслед за этим на экране. «Препарат „ДС“ — величайшее изобретение века!»

— Простите, вы что-то сказали? — внезапно услышал я за своей спиной.

Я обернулся. Ко мне обращался тот самый посетитель кафе, который только что, как мне казалось, дремал над газетой.

— Вы что-то сказали? — повторил он.

Я неопределенно пожал плечами.

— Нет. Вроде бы нет.

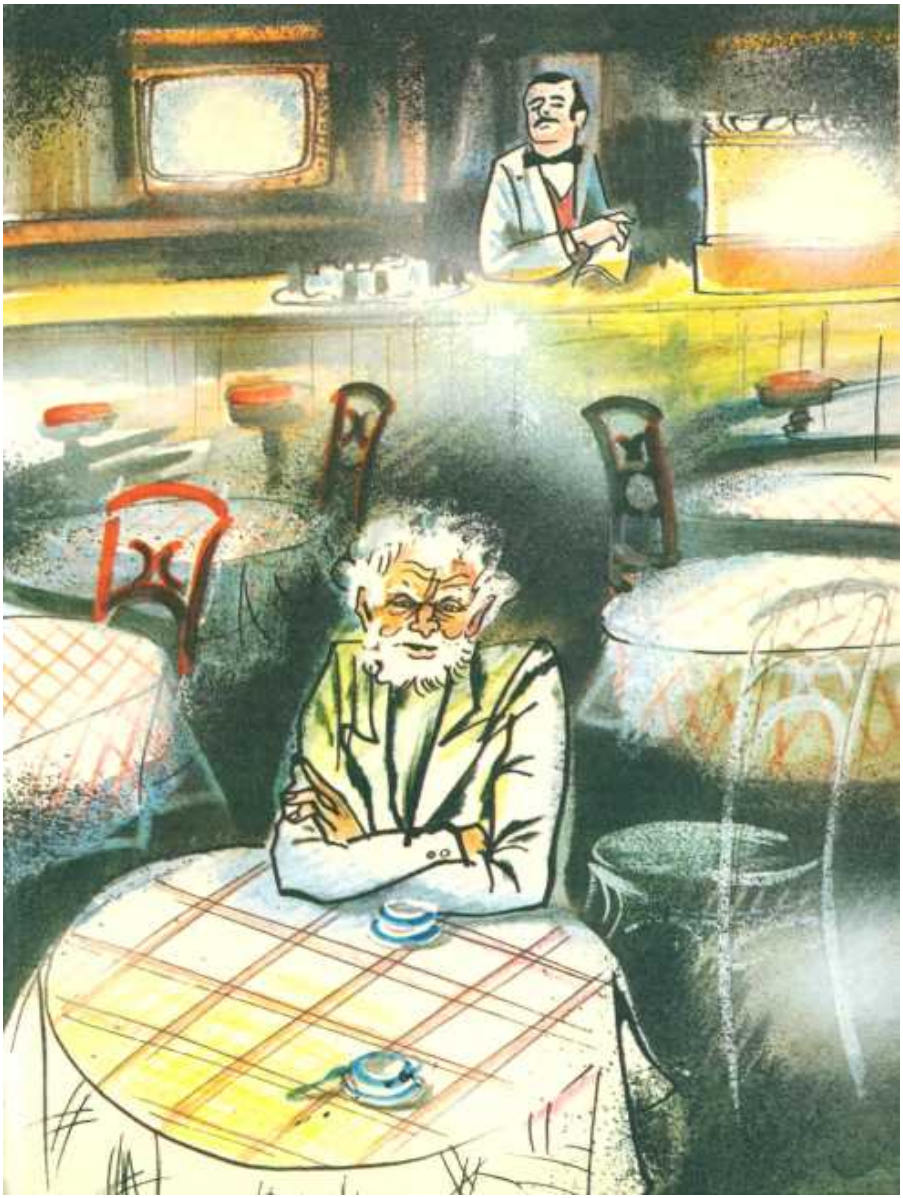
— Значит, мне почудилось. В моем возрасте это простительно, — сказал он и, поднявшись, шагнул к моему столику. — Разрешите?

— Пожалуйста, — сказал я, хотя, должен признаться, поведение этого человека несколько удивило меня. Я уже успел усвоить, что в этой стране не принято заговаривать с незнакомыми людьми, а тем более подсаживаться к кому-либо за

столик. Если человек пришел в кафе один, значит, у него есть для этого основания. И пусть он остается один наедине со своими мыслями, со своей чашкой кофе или со своей газетой. Никто не вправе мешать ему. Так, вероятно, рассуждали здесь, в этой стране.

Я внимательнее всмотрелся в своего неожиданного собеседника. Странно, но мне показалось, будто где-то я уже видел его. Но где?

У него был высокий лоб, прорезанный глубокими, старческими морщинами, седые, небрежно сбившиеся волосы, впалые щеки. Седая щетина проглядывала на подбородке. Лицо его казалось усталым, даже, пожалуй, изнуренным, но глаза смотрели умно и пристально. Однако где все-таки я уже видел это лицо?..



— Я вижу, вы иностранец, — сказал он. — Поэтому я и решился заговорить с вами. Надеюсь, вы простите мою бесцеремонность?

— Разумеется, — сказал я. — Прошу вас.

Мой собеседник, устроившись на стуле напротив меня, помолчал немного, потом мотнул головой в сторону телевизионного экрана:

— Улавливаете сходство?

Теперь я понял, отчего мне было знакомо его лицо!

Действительно, между Санта-Клаусом, возникающим на экране, и человеком, сидевшим сейчас передо мной, было несомненное сходство.

— Так это вы? — спросил я, решив, что скорее всего судьба свела меня с постаревшим, опустившимся актером, подрабатывающим себе на жизнь с помощью рекламных съемок.

— Нет. — Мой собеседник отрицательно покачал головой. — Это не я. Это актер, подгримированный под меня.

Я вопросительно смотрел на него, ожидая, что последует дальше.

— Я вижу, вы действительно иностранец. Иначе вы узнали бы меня, — сказал он. — Ведь я… — Он усмехнулся. — Я ведь и есть Дарующий Счастье…

Теперь я взглянул на него с опаской. Уж не сумасшедший ли это? Да, сходство с рекламным Санта-Клаусом было явным, но, может быть, как раз это случайное сходство и подтолкнуло его к тому, чтобы вообразить о себе бог знает что.

— Да, да, не удивляйтесь, — повторил мой собеседник. — Если вы когда-нибудь интересовались биологией, вы должны были слышать мое имя. Я — биолог. Доктор Жильбер.

По выражению моего лица он догадался, что его имя мне ничего не сказало. И опять его губы тронула горькая, ироничная усмешка.

— Было время, когда мое имя не сходило с газетных страниц, — сказал он. — По крайней мере, в нашей стране. Иногда я просто сам себе не верю — неужели один человек мог наговорить столько глупостей?

Я не очень уверенно улыбнулся, еще не зная, как воспринять его последнюю фразу — как шутку или как горькое сожаление?

— Газеты сохранились, так что вы можете убедиться, что я ничего не преувеличиваю. Я действительно был первым, кому пришла в голову эта идея. Идея создания того, что теперь называют «ДС» — «Дарующий Счастье». Вы верите мне?

— Да, конечно.

Я сказал ему правду. Было в этом человеке, в его голосе, в глазах нечто такое, что заставляло верить ему.

— Вы хотите спросить, как я пришел к этой идее, не так ли? Когда-то это был первый вопрос, который задавали мне корреспонденты. И я говорил им… Я говорил, что, собственно, я не пришел к ней. Она жила во мне всегда. Сколько я себя помню.

Вы знаете, каково это — видеть, как горе, несчастья преследуют тех, кто добр, мягок, отзывчив, кто полон любви к людям? Видеть, как торжествуют сила и алчность? Я все это видел, еще когда был ребенком. А детские впечатления самые

сильные, они не проходят, они остаются с нами, в нашем сердце. И я мечтал, еще тогда мечтал сделать людей хоть немножечко счастливее. Так стоит ли удивляться тому, что когда были открыты эндорфины… Вы слышали, что такое эндорфины? Образно говоря, это молекулы счастья. Ученый, причастный к их открытию, профессор Ли, сказал: «Я чувствую, эти молекулы определяют различие между счастливыми и несчастными людьми». Так что стоит ли удивляться — когда были открыты эндорфины, когда мы начали изучать механизм их воздействия на мозг, я сразу ухватился за эту возможность, я сразу ощутил, понял: это именно то, что надо! Какие мечты обуревали меня тогда, какие планы! Да только ли меня! Помню, когда один из корреспондентов, правда, уже несколько позже, спросил нашего шефа, доктора Штейна: «Значит, вас можно считать творцами человеческого счастья?», он ответил с наивной самонадеянностью: «Это, конечно, слишком смелая формулировка. Но если вам так нравится, я не буду возражать против нее…»

Доктор Жильбер увлекся. Его хрипловатый голос звучал все громче, и на впалых щеках проступал старческий, нездоровый румянец.

Кафе постепенно наполнялось народом. Видно, моего собеседника здесь хорошо знали. Я ловил на себе любопытные взгляды, замечал понимающие ухмылки, обращенные в нашу сторону. Но доктор Жильбер, казалось, не видел ничего вокруг. Он продолжал свой рассказ, свою историю, свою исповедь.

— В то время я руководил одной из лабораторий крупной химико-фармацевтической фирмы. Тогда о наших исследованиях было известно лишь очень немногим. Результаты работы мы, как правило, обсуждали только в самом узком кругу, а иногда даже и наедине с доктором Штейном, владельцем фирмы. Надо сказать, он не жалел денег для моей лаборатории. «По-моему, — говорил он, — вы, Жильбер, еще и сами не представляете, что держите в руках! Только попробуйте вообразить, какие перспективы откроются перед нашей страной, перед нашим обществом, если мы добьемся успеха! В стране не станет недовольных, все будут счастливы. Это ли не величайший поворот в судьбе человечества, это ли не путь к всеобщему благоденствию?» Иногда мне казалось, что шеф уже репетирует передо мной свои будущие публичные речи. Я не догадывался еще, сколько сложных проблем вскоре подбросит мне жизнь. Я не думал тогда, на что именно посягаю. Я был увлечен своей работой, меня не занимало ничто другое.

Доктор Жильбер замолчал, задумавшись, погрузившись в

свои воспоминания. Чувствовалось, что он сильно устал. Я спросил его, не хочет ли он выпить со мной за компанию чашку кофе, но мой собеседник отрицательно покачал головой. Он посмотрел на меня каким-то странным взглядом, словно бы с трудом припоминая, где он находится и кто сидит перед ним.

— Что же дальше? — спросил я. — Что было дальше?

— Дальше?.. Ах, дальше… Я уже сказал: наша работа шла успешно. Я никогда не смогу забыть тот день, когда мы получили первые граммы… первые граммы вещества, которое тогда же назвали препаратом «ДС». «Дарующий Счастье». Крупицы его лежали передо мной, они были осязаемы! Да, да, мы думали, что держим в руках ключи к человеческому счастью! Его код, его шифр отныне перестал быть тайной. Какое это было непередаваемое, какое радостное и — поверите ли мне? — какое страшное ощущение! Словно мы прикоснулись к чему-то запретному, к чему нельзя было прикасаться. В общем-то, так оно и было. Только понял я это значительно позднее. А тогда… Тогда нам еще предстояла серия опытов, нам предстояло испытать наш препарат…

И опять последовала долгая пауза. Потом доктор Жильбер сказал:

— Именно в те дни меня и начали мучить первые сомнения…

Впрочем, я предвидел, что испытания будут долгими и непростыми, что нам предстоит еще пройти длинный путь, прежде чем мы сумеем сказать: цель достигнута. Я не стану сейчас рассказывать вам, как проходили эти испытания. Были там и свои неудачи, и свои успехи, надежды чередовались с разочарованиями, но не это существенно. Я расскажу только одну историю, и вы поймете, что она значила для меня. Однажды ко мне в лабораторию пришла пожилая женщина. Ее глаза сразу поразили меня — такая тоска была в них. Я так и не узнал никогда, кто направил ее ко мне. Наверно, кто-то из моих сотрудников, больше ни от кого она не могла узнать о нашей работе: результаты опытов еще держались в секрете. Но так или иначе, а эта женщина появилась в моей лаборатории. В то время, если помните, наша армия вела войну, бессмысленную и нелепую войну с соседней страной из-за болотистого клочка земли, который наши правители никак не могли поделить между собой. И сын этой женщины, моей тогдашней посетительницы, был тяжело ранен, изуродован на войне и теперь в мучениях умирал в госпитале. Мать буквально обезумела от горя. Она говорила, что не в силах видеть, как страдает ее сын. Но она должна идти к нему, она должна хоть в эти последние минуты поддержать и ободрить его. Но она не может показаться перед ним в таком

состоянии: по ее глазам, по лицу он поймет все. Эта женщина умоляла дать ей крупицу нашего препарата. Я не хотел, я понимал, что не должен этого делать. Но она так рыдала, что я не выдержал. Я дал ей две дозы — для нее и для ее сына. Свою дозу она приняла тут же и прямо из лаборатории поехала в госпиталь. Но сыну ее препарат уже не понадобился: он был в беспамятстве…

Доктор Жильбер поднял на меня глаза. Что было в них? Тоска? Чувство вины? Боль? Не знаю. Но я не вынес этого и отвел взгляд.

— Только на другой день, — продолжал доктор Жильбер, — я понял, что сделал. «Счастливая мать у постели умирающего сына-героя», «Мать-патриотка благословляет своего умирающего сына» — таковы были подписи под фотографиями, появившимися в утренних газетах. И на них я увидел лицо этой женщины. Оно действительно было счастливым. Неподдельно счастливым. Вот что самое ужасное. А что она говорила репортерам! Боже мой, какой стыд, какое отчаяние я испытал тогда! «Счастливая мать у постели умирающего сына» — можно ли придумать что-нибудь более кощунственное! Об этом ли я мечтал? К этому ли стремился?.. В тот же день у меня состоялся долгий разговор с доктором Штейном. Он говорил, что разделяет мои чувства, мою тревогу, что ни в коем случае не побуждает меня торопиться. Тем более что, как ему стало известно из вполне авторитетных источников, среди части медиков — сотрудников министерства здравоохранения, каким-то образом проведавших о наших исследованиях, — существует оппозиция нашему препарату. Так что излишней поспешностью не следует ставить фирму под удар. Хотя, разумеется, с другой стороны, фирма не может бесконечно вкладывать средства в дело, не дающее прибыли…

Мой собеседник опять погрузился в молчание, но я уже начал привыкать к этим его затяжным, долгим паузам и терпеливо ждал, когда он продолжит свой рассказ. За соседними столиками сменялись люди, новые посетители поглядывали на нас все с тем же выражением любопытства и добродушной, снисходительной насмешливости, но к разговору нашему никто особенно не прислушивался: наверно, доктор Жильбер не первый раз рассказывал здесь свою историю.

— Итак, испытания продолжались, запасы препарата накапливались. Прошло недели две после нашего разговора с доктором Штейном, когда однажды утром он сам вызвал меня. На этот раз он был не один. В кабинете сидел незнакомый мне человек, которого доктор Штейн представил мне как комиссара полиции. У Штейна было крайне озабоченное, даже

встревоженное выражение лица. «Доктор Жильбер, — сказал он. — Произошло несчастье. Вчера во время транспортировки похищен контейнер с опытной партией препарата „ДС“. Мне незачем объяснять вам, к каким последствиям может привести это непредвиденное событие».

Я ожидал всего, но только не этого. Честное слово, в ту минуту я почувствовал, как все оборвалось и похолодело у меня внутри. Раньше я думал, что это только романисты так пишут в своих книгах для выразительности, но тогда я действительно испытал именно такое состояние. Контейнер! Это значит — сотни тысяч доз препарата! Сотни тысяч! «Единственное, что нас несколько успокаивает, — продолжал доктор Штейн, — похитители, как мы предполагаем, не имеют представления о том, что именно они похитили. Они действовали, что называется, наугад. Комиссар полиции разделяет эту версию». Комиссар полиции кивнул. Я хорошо запомнил все обстоятельства этого разговора, каждую мелочь, слишком важен он был для меня. Слишком часто мне приходилось потом мысленно восстанавливать его в памяти, проигрывать заново. «И тем не менее, — говорил доктор Штейн, глядя теперь только на меня, — мы не можем и не должны проявлять беспечность. И тут я все надежды возлагаю на вас, доктор Жильбер. Вы, именно вы, должны обратиться сейчас к населению нашей страны. Только вы сможете найти нужные слова, только вы! Я помню, с какой выразительностью, с каким красноречием вы говорили о своих тревогах и сомнениях. Это необходимо сделать как можно скорей. Я уже провел переговоры с телекомпаниями — они готовы предоставить вам такую возможность. Я верю в вас, доктор Жильбер!» Да, когда было надо, мой шеф умел говорить очень убедительно. Его голос обрел едва ли не торжественность — я не мог не проникнуться чувством ответственности, возлагаемой на меня. К чему лишняя скромность, я действительно верил тогда, что мой препарат избавит человечество от страданий. Мы простились, крепко, с чувством пожав друг другу руки. Почти всю ночь я писал свое обращение к гражданам страны. А утром я был уже в телестудии. Мне казалось, я превзошел самого себя. Так, по крайней мере, потом утверждала моя жена. Впрочем, я никогда не умел определять, что она говорит всерьез, а что — в насмешку. Но тогда я действительно сделал все, что мог. Да и телекомментаторы постарались вовсю, чтобы соответствующим образом обставить мое выступление. «У нашего микрофона доктор Жильбер. Доктор Жильбер сделает заявление чрезвычайной важности» — так или примерно так объявил ведущий. Я старался говорить лаконично и сдержанно, но

волнение и тревога, помимо моей воли, прорывались в голосе, в интонациях, в жестах — тут уж я ничего не мог поделать с собой. Но я верил, что эта тревога передастся и моим слушателям. Я коротко рассказал об исследованиях, которые вела наша лаборатория, о наших мечтах и планах. Я рассказал, во имя чего была предпринята эта работа. «Мы стремились, — говорил я, — помочь людям, пораженным депрессией, охваченным тоской, подавленностью, людям, страдающим от одиночества, лишенным надежды на будущее, потерпевшим жизненный крах. Ведь порой для того, чтобы обрести прежнюю уверенность в жизни, человеку достаточно убедиться, что он пусть ненадолго, но способен вновь ощутить себя счастливым. Вернуть человеку надежду, радость, веру в себя — это ли не одна из самых благородных задач, стоящих перед наукой! Но все это в будущем. А сейчас обстоятельства вынуждают меня обратиться к вам с совсем иными словами. В чьих руках окажется похищенный препарат, кто воспользуется им? В каких целях? Мой долг, моя обязанность предупредить вас о той опасности, о той угрозе, с которой каждый из вас, граждан нашей страны, может столкнуться уже завтра…»

Голос моего собеседника окреп. Будто доктор Жильбер и правда говорил сейчас перед телекамерой. И я отчетливо представил себе, как выразительно выглядел он на экранах телевизоров, как тревожно звучали тогда произносимые им слова.

— «…Трагедия в том, что мы до сих пор не знаем, не можем оценить всех последствий применения нашего препарата. Что принесет он в конечном счете? Радость? Ощущение полноты жизни? Или то блаженненькое довольство жизнью в любых ее проявлениях, которое сродни слабоумию? Я говорю об этом со всей прямотой, на которую способен. И потому я обращаюсь сейчас к вам — к взрослым и детям, к мужчинам и женщинам: в чьих бы руках ни оказался созданный нами препарат, воздержитесь от его употребления. Уничтожайте препарат или передавайте его представителям нашей фирмы. Думайте о последствиях! Мой долг — предупредить вас».

Мое обращение было передано несколько раз в течение дня всеми телекомпаниями страны. На другой день я уже не знал, куда скрыться от журналистов. Газеты публиковали интервью со мной, подлинные и вымышленные, мои фотографии не сходили с газетных страниц, вся страна, казалось, только и говорила о нашем препарате, о препарате «ДС». Меня спрашивали: «Не означает ли все то, что вы сказали, выступая перед телекамерой, отречения от собственной идеи, разочарования в ней?» Я отвечал: «Нет, от идеи — нет. От бездумного ее воплощения — да!» Меня

спрашивали: «И вы действительно верите, что ваши предупреждения смогут остановить кого-то из тех, кто получит возможность испытать на себе ваш эликсир счастья?» — «Да, я всегда верил в здравый рассудок, — отвечал я. — Думаю, он победит и на этот раз». Увы, моя уверенность оказалась преждевременной… Да что говорить… — Доктор Жильбер устало махнул рукой. — Вы сами видите, что творится в нашей стране…

— И все-таки, — сказал я. — Я не понимаю…

— Что тут понимать? Я попал в собственную ловушку. Если хотите, я расскажу, что произошло дальше. Последний, так сказать, акт драмы. Или трагикомедии, — может, так будет точнее. Чем больше я взывал к рассудку, тем сильнее становился бум вокруг всей этой истории. По утрам я боялся раскрывать газеты. И предчувствия не обманули меня. Полиция, разумеется, так и не смогла обнаружить похитителей контейнера. Зато вскоре появились первые сообщения о людях, испытавших на себе действие нашего препарата. По их словам, они купили его на черном рынке. Газетчики, телерепортеры мгновенно ухватились за этих людей, кинулись по их следу. Интервью с ними выносились на первые страницы газет, лица их замелькали на экранах телевизоров. Мне достаточно было взглянуть на эти лица, чтобы понять все… Блаженненькие, счастливо-бессмысленные улыбки, остановившиеся глаза… Репортеры вовсю, захлебываясь, повествовали об их ощущениях. «Что вы чувствуете?» — «Я счастлив. Я никогда еще не был так счастлив. Мне кажется… Как бы это выразить поточнее… Я лечу… И вокруг чистое небо…» — «Но разве месяц назад вы не лишились работы? Разве у вас нет проблем?» На секунду мучительное недоумение в глазах, робкая попытка что-то понять, что-то вспомнить. И тот же ответ: «Я счастлив, я никогда еще не был так счастлив». Нет, на это невозможно было смотреть! Я жаждал спасти мир от страданий, а на самом деле открыл ящик Пандоры. А между тем число тех, кому удавалось достать препарат «ДС», нарастало с поразительной быстротой. Это было подобно лавине, самой настоящей лавине. На улицах появились люди с плакатами: «„ДС“ — сегодня, а не завтра! Дайте нам счастья!» В понедельник утром, приехав, как обычно, на работу, я увидел огромную толпу, осаждавшую дирекцию фирмы. Потрясенный таким оборотом дела, я бросился к доктору Штейну. К моему изумлению, я застал его оживленным, веселым, деятельным. «Поздравляю вас, Жильбер! — воскликнул он. — Вы прекрасно справились с вашей задачей! Никакая самая талантливая реклама не смогла бы сделать то, что сделали вы! Не случайно говорят: самый лучший способ привлечь внимание ребенка к какому-либо предмету —

это запретить прикасаться к нему. Люди — те же самые дети, Жильбер! Пока это секрет, но вам я могу сказать: завтра начнутся демонстрации по всему городу. Мне сообщили об этом люди, которые знают, что говорят. Пусть-ка теперь попробуют высунуться эти недоучки, эти жалкие ханжи от медицины! Мы победили, Жильбер!» Я был ошеломлен, ошарашен. Я был раздавлен. Значит, вся эта операция… «Мы…» Только теперь истина начала приоткрываться мне. И моя собственная роль во всей этой истории.

На следующий день я подал в отставку. Доктор Штейн убеждал меня остаться, убеждал не делать этого, как он выразился, глупого шага, о котором я когда-нибудь еще пожалею. Но я настоял на своем. Вот, собственно, и все. Но эта рекламная морда, — доктор Жильбер кивнул в сторону телевизионного Санта-Клауса, по-прежнему с методичной настойчивостью возникающего на плоском экране, — не дает мне ничего забыть. Иногда мне кажется: он издевается надо мной. — Он горько усмехнулся. — Дарующий Счастье… Вам, конечно, не пришлось побывать на наших заводах? Вы не видели людей, работающих ради того, чтобы вечером получить таблетку «ДС»? Вы не видели их лиц? И не надо. Этого лучше никогда не видеть…

Доктор Жильбер замолчал, закрыв лицо руками. Я молчал тоже. Потом он чуть шевельнулся и произнес глуховатым, негромким голосом:

— Скажите, вы не смогли бы дать мне немного денег? — И, словно почувствовав мою растерянность, добавил: — Мне необходимо купить «ДС».

— Как? — переспросил я, пораженный тем, что услышал. — После всего, что вы рассказали…

— Что делать… — проговорил доктор Жильбер все так же глухо, по-прежнему не отрывая рук от лица. — Я сломленный человек… Но я верю: придут другие… придут другие…

Охваченный жалостью к этому раздавленному, потерянному человеку, я торопливо нашарил в кармане две смятые бумажки и протянул ему…

На следующий день мы уезжали. Уже шагнув в тоннель, ведущий на летное поле, я обернулся: со светящегося экрана, по-прежнему щедро улыбаясь, на меня смотрел Санта-Клаус с чертами лица доктора Жильбера…

«Наездник»

октор Тэрнер? С вами будет говорить профессор Хаксли.

Пауза между этой фразой, произнесенной секретаршей, и голосом самого Хаксли, зазвучавшим в трубке, была, пожалуй, чуть короче, чем полагалось бы для человека, занимавшего такое положение, как профессор Хаксли. Руководитель гигантского научного центра, где сотни людей занимались самыми головоломными и, как поговаривали, самыми фантастическими проблемами, центра, чьи корпуса не только протянулись на несколько километров, но еще и уходили глубоко под землю, этот человек был слишком значительной фигурой, чтобы доктор Тэрнер, возглавлявший пусть вполне современную и даже имевшую немалую известность, но все же небольшую психиатрическую лечебницу, не напрягся весь внутренне, прижимая к уху телефонную трубку.

— Добрый день, доктор! — Голос профессора звучал совсем по-свойски, словно он собирался пригласить своего коллегу на загородную прогулку или на скромный семейный праздник.

— Добрый день, профессор! — Тэрнер постарался, чтобы его голос прозвучал если не точно так же, то по крайней мере почти так же.

— У меня к вам, доктор, личная просьба. Вероятно, к вам в ближайшее время обратится некий профессор Гардинг. Да, да, Гардинг. Это один из лучших наших сотрудников. Очень жаль, но последние месяцы с ним творится что-то неладное. Надеюсь, ничего страшного, но все же… Нам бы очень не хотелось его терять. Я сам рекомендовал ему вашу клинику.

— Благодарю вас, профессор. Я очень признателен.

— И прошу вас, доктор, по возможности разрешать Гардингу работать: без этого, я уверен, он долго не протянет. Кроме того, повторяю: его последние идеи для нас крайне ценны. Вы меня

поняли?

— Не беспокойтесь, профессор. На нашу клинику еще никто не жаловался.

— Ну вот и прекрасно.

Они простились, и доктор Тэрнер еще некоторое время смотрел на телефонный аппарат с нежностью, словно тот был живым существом…

…Профессор Гардинг появился в его кабинете на другой день. Он был худощав и немолод. У него было энергичное лицо, уже носившее следы усталости, даже, если говорить точнее, измученности. К тому же он был явно смущен необходимостью своего появления здесь. Впрочем, это выражение смущения и растерянности, словно человек пытается и не может понять, как, по какой неведомой случайности он попал совсем не туда, куда стремился, не раз уже замечал доктор Тэрнер на лицах своих пациентов.

— Рад, рад с вами познакомиться! — воскликнул Тэрнер. — Много слышал о ваших работах. Счастлив, что теперь имею возможность видеть вас…

Он приостановился: он всегда придавал большое значение первой реакции, первым словам больного, произнесенным в этом кабинете.

— К сожалению, не могу ответить вам тем же, — сказал Гардинг, усмехнувшись. — Вернее, я был бы рад познакомиться с вами при других обстоятельствах…

— Ну что вы! — воскликнул доктор Тэрнер. — Не надо преувеличивать! В наше время очень многие невольно преувеличивают свои болезни. Нервы, переутомление, стресс… Две-три недели покоя, и все будет отлично.

Гардинг покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Если бы *это* не было так серьезно, я бы, поверьте, никогда не обратился к вам.

— Что же вас беспокоит, профессор? — уже переходя на деловой тон, спросил Тэрнер.

— В том-то и дело… В том-то и дело… — сказал Гардинг. — Если бы я мог объяснить, что со мной происходит, это не было бы так мучительно.

— И все-таки? Попытайтесь, профессор.

— Скажите, доктор, вам никогда в детстве не снился такой сон: вы ясно видите яблоко, вы даже берете его в руку, вам кажется, вы сейчас надкусите его, а надкусить его, ощутить его вкус оказывается невозможно. И вы даже во сне страдаете от этой невозможности и оттого, что не можете понять: почему? Как же? Ведь яблоко вот оно, перед вами…

— Ну разумеется, — улыбаясь, сказал доктор. — Кому же из нас в детстве не снились такие сны…

— Так вот, со мной теперь происходит нечто подобное уже наяву. Я теряю мысль. Вы понимаете, доктор, я ее уже ощущаю, я чувствую, что она есть, и вдруг она исчезает, я не могу поймать ее…

Доктор Тэрнер кивнул. Лицо его оставалось серьезным.

«Склероз, — подумал он, — обычный старческий склероз. Плюс упорное нежелание признать свою болезнь обыкновенной, такой, как у всех. Моя болезнь должна быть исключительной».

С такими случаями ему тоже приходилось иметь дело не раз. Как ни странно, но человек способен гордиться даже тяжелой болезнью, если она редчайшая, если она принадлежит только ему.

— Мне кажется, вы меня не поняли, — с грустью сказал Гардинг. — Понимаете, со мной и раньше бывало, что я вдруг что-то забывал, не мог сразу уловить какую-то идею, но теперь это совсем другое. Это состояние… Нет, я не знаю, как это объяснить словами…

«Ничего удивительного, что процесс постепенного умирания мозга всегда особенно мучителен и невыносим именно для больших ученых…» — подумал доктор, а вслух сказал:

— Еще один вопрос, профессор. У вас были за последнее время какие-либо неприятности, сильные переживания?

Гардинг пожал плечами.

— Может быть, столкновения с кем-нибудь из коллег? С руководством?

— Ну у кого же их не бывает — столкновений и неприятностей! — сказал Гардинг. — Но ничего из ряда вон

выходящего… Так что даже не знаю, что вам и сказать… Разве что…

Доктор ждал.

— Разве что… Недавно мы крупно поспорили с профессором Хаксли. Дело в том, что наши взгляды на одну проблему разошлись уж очень резко. Я опасался, не будут ли некоторые наши работы использованы во вред людям. Тогда я, кажется, погорячился. Впрочем, в науке такие вещи естественны, вы же знаете, доктор…

— И с профессором Хаксли у вас остались по-прежнему хорошие отношения? — быстро спросил Тэрнер. — Вы не испытываете к нему вражды?

— Ну что вы! — сказал Гардинг. — Нормальные деловые отношения.

— Я рад, что вы так здраво смотрите на вещи, — сказал доктор. — Это лишний раз доказывает, что ваше недомогание не так уж страшно. Покой, полная изоляция, режим, прогулки, кое-что из химиотерапии — теперь в этой области, вы, конечно, слышали, достигнуты чудеса — и я уверен, вы сможете вернуться к своей работе…

Он замолчал. Выражение глаз Гардинга насторожило его: так смотрят дети, когда понимают, что взрослые их обманывают.

Прошла неделя, другая, прошел месяц, а больному, вопреки заверениям доктора Тэрнера, не становилось лучше.

Гардинга поместили в отдельную комнату, которая скорее напоминала номер в отличном отеле, чем палату в психиатрической клинике. Правда, дверь этой палаты постоянно была заперта снаружи, но профессор, казалось, и не замечал этого.

Он то бродил по комнате, то вдруг торопливо присаживался к столу и пытался что-то записывать на листках, вырванных из блокнота. Торопясь, он наносил на бумагу значки и цифры, иногда сбивчивым, судорожным почерком записывал одно-два слова, зачеркивал их, отбрасывал ручку и с мучительным недоумением вглядывался в только что сделанные записи. Вставал и снова начинал ходить по комнате. Потом снова кидался к столу. И так весь день.

Иногда он просыпался среди ночи и, включив свет, тянулся к блокноту. И опять все повторялось.

С каждым днем лицо его становилось все изможденнее, и измученное выражение, казалось, теперь уже навсегда застыло в его глазах.

Напрасно доктор Тэрнер уверял, что все идет как нельзя

лучше, — он и сам видел, что это ложь. Он еще пытался убедить себя, что это кризис, что вот минет кульминационная точка и больной пойдет на поправку. Но время шло, а состояние Гардинга все ухудшалось…

Научный центр, которым руководил профессор Хаксли, был так огромен, что вздумай профессор ежедневно совершать обход всех лабораторий, отделов и секторов, у него уже не оставалось бы времени ни на что другое. Поэтому он обычно выбирал какой-нибудь один отдел или сектор и некоторое время занимался только им.

Последние дни профессор Хаксли чаще всего бывал в четвертом корпусе. Над крышей этого корпуса тянулись вверх сложные антенные системы, а в самом здании размещалась электронная аппаратура под кодовым названием «Наездник». Это название придумал ее создатель, профессор Кронфельд, еще в то время, когда она существовала лишь в его воображении, но с тех пор оно так и закрепилось за ней.

Профессор Хаксли подолгу, внимательно наблюдал за бесшумной работой операторов в белых халатах, за вспыхивающими и гаснущими сигнальными лампочками, за вздрагивающими стрелками приборов, за бесконечной лентой, выползающей из электронной машины…

В эти минуты он был молчалив и задумчив.

Днем профессору Гардингу разрешали прогулку к морю.

Он шел и думал о своей жизни и забывал, что два служителя, два санитара, неотступно следуют за ним.

Когда-то, еще в студенческие годы, все то, чего он добился теперь, все то, что удалось ему сделать, представлялось ему и вершиной славы, и вершиной успеха. О большем он не мог да и не смел тогда мечтать. А теперь, оглядываясь назад, он понимал, как ничтожно мало он сделал. Те работы, которые он выполнил, были временны, преходящи. Но порой ему казалось, что он еще сумеет, что он непременно должен сделать что-то неизмеримо более важное.

Он же может. Он это чувствовал.

В светлые минуты, когда он стоял возле моря, он опять начинал верить, что сумеет. И он торопился обратно в свою комнату, в свою камеру, в свою палату, — его мало интересовало, как это здесь называется. И снова начинались те же мучения.

Иногда ему чудилось, что он уже ощутил, поймал мысль и ему только недостает умения, недостает слов, чтобы выразить ее. Вряд ли что-либо могло причинять большие страдания, чем это

чувство собственной беспомощности…

Когда-то давно он любил работать стоя. Он вдруг вспоминал об этом и просил принести ему специальную конторку.

Это не помогало.

Тогда он часами упорно просиживал за столом над чистым листом бумаги, боясь упустить тот момент, когда его мысль станет ясной и когда у него хватит сил выразить ее.

Потом он ощущал усталость, опустошенность, неслышно появлялась сестра милосердия, делала ему укол, чтобы он уснул.

Засыпая, он видел себя то студентом, почти мальчиком, то молодым профессором, впервые входящим в аудиторию…

На селекторе в кабинете профессора Хаксли вспыхнул красный глазок: его вызывал «Наездник». Профессор щелкнул переключателем: пользоваться прямой связью сотрудникам разрешалось лишь в особо важных, экстренных случаях.

— Слушаю, — негромко сказал он.

Взволнованный голос произнес:

— Два часа назад объект номер семь прекратил выдачу информации.

Профессор Хаксли положил трубку и молча откинулся на спинку кресла.

Слегка покачиваясь в кресле, он ждал.

Он не удивился, когда на пороге кабинета возникла секретарша.

— Профессор, простите, но с вами хочет говорить доктор Тэрнер.

— Да-да, — отозвался Хаксли. — Соединяйте.

Несколько секунд доктор Тэрнер молчал, только было слышно в трубке его дыхание. Потом сказал:

— Профессор, два часа назад умер Гардинг. Я просто не представляю…

Хаксли оборвал его на полуслове.

— Надеюсь, вы сделали все возможное? — холодно спросил он.

— Разумеется! — воскликнул доктор Тэрнер. — Нам впервые пришлось столкнуться с подобным случаем, и все-таки я убежден…

Он продолжал еще что-то говорить, торопливо и громко, но профессор Хаксли уже не слушал его.

На следующий день профессор Хаксли вызвал к себе Кронфельда.

— Садитесь, Кронфельд, — сказал он. — Вы знаете, что профессор Гардинг умер?

— Да, — сказал Кронфельд. — Знаю. Правда, последнее время мне не приходилось с ним встречаться. Говорят, он был тяжело болен?

— Да. И потому нам пришлось торопиться. Теперь можно подвести итоги. Ваш «Наездник» поработал в этот раз неплохо. Обработка информации еще не закончена, но уже сейчас можно сказать, что мы располагаем необычайно интересным и необычайно важным материалом.

— Идеи Гардинга всегда были оригинальны, — сказал Кронфельд.

— Да. Если бы только он сам не был так упрям… — вздохнул Хаксли. — Тогда бы, я думаю, нам не пришлось прибегать к услугам «Наездника». Кстати, Кронфельд… я давно хотел вас спросить: почему вы дали своему детищу такое странное название?

— А-а, это… — засмеялся Кронфельд. — Старая история. Вы ведь знаете, профессор, детские впечатления нередко бывают самыми сильными. Так вот, еще в детстве в популярной книжонке я прочел рассказ о таком насекомом — наезднике. Самка наездника откладывает яйца в теле гусеницы. Гусеница еще ничего не ощущает, но она уже обречена. Личинка-паразит, развиваясь, высасывает из нее все соки, и гусеница гибнет. Эта история произвела на меня в детстве какое-то странное, почти болезненное впечатление. А мысль о создании мозга-паразита, мозга, перехватывающего чужие импульсы, пришла уже много позже. И все-таки я их связываю — ту детскую, давнюю вспышку ужаса и эту свою идею…

Он сделал паузу, словно выжидая, что скажет Хаксли, но директор молчал.

— И знаете, что самое забавное, профессор? Что эта идея впервые пришла мне в голову на лекциях Гардинга, когда я был еще студентом. «Учиться у природы!» Вы же помните, это всегда была его любимая мысль. Он повторял ее без конца. А мозг-паразит… Эта идея была так проста, что сначала показалась мне неосуществимой. А потом… Впрочем, что было потом, вы знаете. Создать аппаратуру, которая сумела бы уловить и усилить самые слабые импульсы, было не так уж сложно. Самым сложным оказалось научиться настраиваться на нужный объект. С этим пришлось повозиться…

— Еще один вопрос, Кронфельд, — сказал Хаксли. — Над чем вы работаете теперь? Что-то я давно ничего не слышал о вашей работе.

— Это секрет, профессор, — засмеялся Кронфельд. — Это секрет.

— Даже от меня? — И Хаксли шутливо погрозил ему пальцем. — От меня у вас не должно быть секретов.

— Я ведь суеверен, профессор, — так же шутливо сказал Кронфельд. — А если говорить серьезно — любая идея занимает меня лишь до тех пор, пока не высказана вслух. Как только выскажу ее, я перестаю ощущать ее своей…

— Я вас понимаю, Кронфельд, — сказал профессор Хаксли. — Я вас очень хорошо понимаю.

Через несколько дней в кабинете доктора Тэрнера раздался звонок:

— Доктор Тэрнер? С вами будет говорить профессор Хаксли.

— Добрый день, доктор.

— Добрый день, профессор.

— Очень прискорбно, доктор, но мне снова приходится прибегнуть к вашей помощи. Случай, очень похожий на болезнь Гардинга. Боюсь, что в ближайшее время к вам обратится еще один наш сотрудник. Сначала я хотел рекомендовать ему другую клинику, но потом подумал, что вам будет любопытно и полезно изучить еще один аналогичный случай… И я думаю, доктор, вашему новому пациенту совсем ни к чему знать, что Гардинг умер именно в вашей клинике. Не так ли?

— Да, профессор, вы совершенно правы. Мы позаботимся об этом.

— Уверен, что на этот раз исход будет благополучным.

— Благодарю вас, профессор. Разрешите узнать фамилию больного?

— Профессор Кронфельд, — сказал Хаксли. — Запомните: профессор Кронфельд.

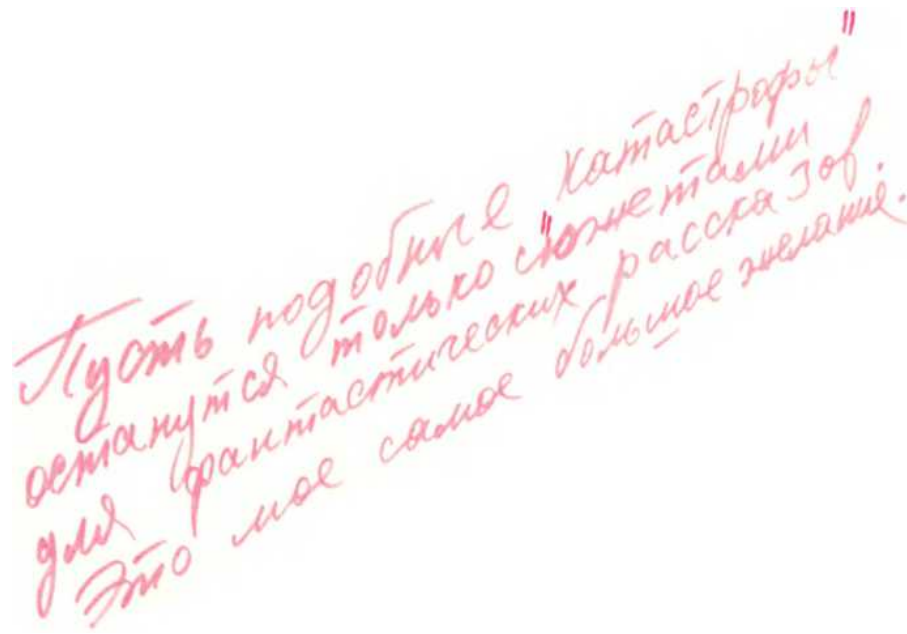
Вместо послесловия

Рассказ «Катастрофа» был напечатан в журнале, и как-то во время одной из читательских встреч ко мне подошла девочка-пятиклассница и попросила дать ей автограф. В руках она держала журнал с моим рассказом.

«Неужели все это и вправду может быть? — сказала она. — По-моему, это так страшно…»

Я подумал тогда, что, если бы все люди на Земле так же чутко ощущали опасность, как эта маленькая девочка, наверно, угроза войны, угроза применения новых, невероятных средств уничтожения была бы меньше.

А в качестве автографа я написал тогда такие слова



notes

Примечания

1

Ныне город Брежнев.